



ПОКА ТЫ НЕ БУДЕШЬ МОЕЙ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Арика Ретнас

Пока ты не будешь моей

<https://litres.ru/74564473>

SelfPub; 2026

Аннотация

Кейт О'Коннор умеет три вещи: шить так, что рыдают критики, лгать без запинки и спать спиной к стене. Девять лет назад она сбежала из дублинского ада — без имени и бумаг. А сегодня она королева кутюра, у которой есть всё. Кроме одного: она не умеет быть чьей-то.

Марко Дюран — капитан обороны сборной Франции, герой с улыбкой дурака. В один вечер самая красивая женщина Парижа назвала его главной занозой города. Утром он подписал себя в её рабы. Добровольно. Навсегда.

Она выдала ему контракт без права на любовь. Он выучил его наизусть — и воевал за неё каждый день. А потом исчез. Оставил письмо в четыре страницы, чашку с трещиной — и слово «жена», произнесённое не ей.

Теперь Кейт знает: дом — не стены. Дом — человек, молчащий по ту сторону двери. И война с Лондоном — лишь пролог к той, где ставка — три слова, которые она не умеет говорить.

Она либо найдёт в себе эти три слова без контракта, либо проиграет первую партию, где ставка — не деньги.

Ставка — сердце. И оно уже остыло.

Содержание

Пролог. Смертный узел	4
Глава 1. Мечты из пепла и шелка	10
Глава 2. Вспышка на мокрой брусчатке	16
Глава 3. Сладкий яд	21
Глава 4. Триста восемнадцать фунтов	36
Глава 5. Первая проба	51
Глава 6. Пепел по имени Кэтлин	62
Глава 7. Девочка со льдом в крови	74
Глава 8. Дым, шпильки и охота на призрака	84
Глава 9. Национальное достояние	93
Г	105
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Арика Ретнас

Пока ты не будешь моей

Пролог. Смертный узел

У человеческой кости есть свой собственный, ни на что не похожий звук излома.

Это не сухой треск ветки в костре и не звон упавшего хрустала. Это глухой, влажный, чавкающий хруст — будто под тяжелым кованым армейским каблуком сминается и лопается сырая древесная кора. А следом за звуком приходит вовсе не боль. Боль всегда опаздывает ровно на три бесконечные, оглушающие секунды. Сначала наваливается ледяная, вымораживающая пустота, от которой легкие судорожно сжимаются в комок, перекрывая диафрагму, а в горле мгновенно встает едкий, тошнотворный металлический привкус запекшейся меди.

Дублин, доки Норт-Уолл. Девять лет назад.

В глухом подвале старого портового пакгауза пахло гнилой речной тиной, крысиным пометом, прогорклым жиром масляного обогревателя и дешевым шотландским пойлом. Но сильнее всего, въедаясь в самые поры ледяного известняка, пахло первобытным, омерзительным человеческим стра-

хом. Он сочился из черных стен, пропитанных солью замерзающей Лиффи, звенел в каждом звене ржавых корабельных цепей, мертво свисавших с потолочных балок.

Двадцатидвухлетняя Кэтлин О'Ши стояла на коленях на заплесневелом, склизком бетоне.

Холод пола пробивал колени до костномозговой ломоты. Ее лицо превратили в кровавое месиво: левый глаз заплыл багрово-черной гематомой, рассеченная бровь безостановочно сочилась темной сукровицей, пачкая щеку и склеивая пряди медных, растрепанных волос. Тонкое ситцевое платье висело на исхудавшем теле растерзанными лоскутами — бесполезная, изодранная в клочья ветошь, едва прикрывавшая покрытые синяками ребра. Ее трясло крупной, конвульсивной дрожью: от промозглого сквозняка с залива и дикого, животного адреналина, колотившегося в висках со скоростью пулеметной очереди.

Перед ней на корточках сидел человек, чье золоченое помолвочное кольцо она когда-то надевала с наивной, слепой девичьей гордостью.

Киллиан Вэнс.

Правая рука дублинского криминального синдиката. Чудовище в сшитом на заказ шерстяном пальто, с мутными, немигающими глазами цвета застойной болотной жижи и тонкой, бескровной улыбкой судебного патологоанатома. В его позе не было ни капли злости — лишь методичное, размеренное терпение палача, знающего, что жертве некуда бе-

жать с разделочного стола.

Он взял ее левую руку. Держал бережно, почти с благоговейной нежностью укладывая ее тонкую девичью кисть на свою широкую, прокуренную ладонь.

Большим пальцем Киллиан медленно провел по ее тонкому запястью, нащупывая бешеный, отчаянный пульс:

— Ты ведь чертовски талантливая девочка, Кэтти, — его голос лился мягко, обволакивая слух тягучей, бархатной ирландской певучестью, от которой по коже пробежал могильный холод. — У тебя золотые ручки. Такие нежные, ловкие пальчики... Ты могла бы одевать королев. Но ты напрочь забыла главное правило доков, птичка: долг твоего покойного отца-пропойцы теперь на твоей шее. До последнего пенни. А канарейки в клетках не шьют платья для себя. Они поют исключительно для тех джентльменов, на которых я укажу пальцем. Раздвигают ноги перед теми, кто швырнет пачку фунтов на этот стол.

Воздух застрял в горле Кэтлин горячим углем.

Она не отвела взгляда. Единственным видящим глазом — горящим ядовитым, смертоносным, неукротимым изумрудным огнем — она посмотрела прямо в эти пустые рыбы зрачки. Собрав во рту вязкую слюну пополам с кровью из разбитой десны, она со свистом плюнула прямо на начищенный носок его дорогого оксфорда.

— Я лучше... сдохну под забором, Киллиан, — ее голос сорвался на утробный, сиплый хрип, в котором не было

мольбы, а лишь чистая, неразбавленная ненависть. — Я лучше позволю крысам сожрать мое мясо... чем лягу под твоих шлюховатых выроdkов. Я перережу тебе глотку. Слышишь меня, мразь?! Я найду заточку и вскрою тебя во сне от уха до уха.

Киллиан не дрогнул. Не отшатнулся. На его холеном лице не дрогнул ни один мускул.

Он лишь медленно, сокрушенно покачал головой, издав тяжелый, наигранно-отеческий вздох:

— Неисправимо гордая. Точно как твой старик перед тем, как утонуть в доках.

Его пальцы перехватили ее левый безымянный палец.

Тот самый, где еще недавно блестело тонкое кольцо.

Хватка Киллиана стала железной. Медленно, с леденящей душу методичностью он начал отводить фалангу назад.

Вверх. Еще выше. Против любого анатомического предела сустава.

Кэтлин почувствовала, как натянулись сухожилия, готовые лопнуть, как закрипели хрящи. Она сжала челюсти до металлического скрежета эмали, готовая прокусить собственный язык, лишь бы не доставить ему удовольствия услышать ее крик. Вздумшиеся вены на ее шее казались синими канатами.

— Смотри на меня, птичка, — ласково прошептал Киллиан ей в лицо, обдавая запахом ментола и гнилого виски. — Запомни этот урок.

Резкое, короткое, беспощадное движение вниз и на излом. На все девяносто градусов.

ХР-Р-УСЬ.

Звук разорвал подвал громче пистолетного выстрела.

Связки Кэтлин свело чудовищной судорогой. Воздух из легких выбило наотмашь. Из сорванного горла вырвался не крик — дикий, надсадный, захлебывающийся вой раненого зверя. Перед глазами взорвалось ослепляющее багровое солнце, рассыпавшееся сотнями колючих белых искр. Фаланга неестественно вывернулась вбок, прорвав тонкую кожу изнутри тупым краем треснувшей кости.

Слезы хлынули из ее глаз градом, смывая запекшуюся кровь, грудь заходила ходуном в беззвучных рвотных спазмах.

Киллиан брезгливо разжал пальцы.

Изувеченная рука Кэтлин безжизненной плетью рухнула на ледяной цемент.

Мужчина неторопливо поднялся во весь свой массивный рост, поправил манжеты белоснежной сорочки и смахнул невидимую пылинку с лацкана пальто.

— Это за твою первую попытку сбежать, — бросил он вниз, глядя на нее с высоты своего сытого превосходства, как на раздавленное насекомое. — Сегодня ты подумаешь над своим поведением в темноте. А завтра мы повторим процедуру с мизинцем правой руки. Шить тебе больше не придется, Кэтти, так что пальцы тебе без надобности. А к вечеру

приедет фургон с покупателями из Манчестера. Обещаю: к их визиту ты станешь тихой, покладистой и очень, очень ласковой девочкой.

Тяжелая металлическая дверь захлопнулась с гулким, похоронным ударом.

Щелкнул массивный засов, отрезая ее от внешнего мира.

Кэтлин осталась лежать на ледяном полу в крошечной, удушающей тьме, прижимая сломанную кисть к разорванному платью, задыхаясь от боли, сводящей челюсти в мертвый замок.

Она не знала, сколько часов ей осталось до рассвета.

Но в этой крошечной могильной темноте, сквозь слезы, кровь и адскую пульсацию раздробленной кости, в глубине ее существа умерло последнее человеческое чувство. Больше не было Кэтлин О'Ши.

На ледяном бетоне дублинского порта, корчась в собственной крови, родился монстр.

Беспощадный. Ядовитый. Выкованный из ненависти и готовый сжечь этот чертов мир дотла при первой же искре...

Глава 1. Мечты из пепла и шелка

Если бы в девятнадцать лет Кэтлин О'Ши сказали, что однажды она возненавидит запах мужского дорогого парфюма и научится держать в руках портновские ножницы как боевой стилет, она бы лишь запрокинула голову и рассмеялась. Звонко, дерзко, так, что медно-рыжие кудри рассыпались бы по плечам огненным водопадом, заставляя хмурых портовых матросов оборачиваться ей вслед.

В то время в ее мире еще не было места страху. Было лишь море, холодный дублинский ветер и слепая, чистая вера в то, что даже из портовой грязи Норт-Уолла можно соткать ослепительное будущее.

Утро в их узком, покосившемся двухэтажном доме на набережной всегда начиналось одинаково — со скрипа. Скрипели старые, рассохшиеся сосновые половицы под босыми ногами Кэтлин, за слуховым окном мансарды истошно кричали чайки, кружа над угольными баржами на реке Лиффи, а сквозь щели в полу снизу поднимался самый родной, самый теплый запах на свете. Запах пара от тяжелого чугунового утюга, сушеной лаванды, воска для нитей и крепкого черного чая.

Кэтлин соскочила с узкой железной койки, поправила простое ситцевое платье и босиком, перепрыгивая через две

ступеньки, сбежала по крутой винтовой лестнице прямо в мастерскую первого этажа.

Отец уже стоял у массивного дубового верстака.

Шон О'Ши, лучший закройщик во всем восточном Дублине, человек, для которого идеальная линия лацкана была вопросом чести. На нем были выцветшие шерстяные брюки с заплатками, потертый рабочий жилет и неизменная сантиметровая лента на шее. В бледном сером свете, падавшем сквозь запыленные витринные окна, его фигура казалась почти монументальной: в одной руке кусок портновского мела, в другой — тяжелые ножницы, замершие над разложенным отрезом грубого матросского сукна.

Кэтлин подкралась сзади на цыпочках, обвила руками его широкую, чуть сгорбленную спину и звонко чмокнула в ключую, пахнущую дешевым табаком и утренним туманом щеку:

— Доброе утро, па!

Шон вздрогнул, но тут же мягко рассмеялся — тем самым глубоким, бархатным грудным смехом, от которого в сырой каморке сразу становилось светлее. Он опустил инструмент, развернулся и потрепал дочь по буйным медным вихрам своей широкой, мозолистой ладонью с вечно исколотыми подушечками пальцев.

— Проснулась, моя бунтарка? — его зеленые глаза, точь-в-точь как у Кэтлин, лучились бесконечным теплом. — Чайник на печке уже шумит. Там на тарелке еще остался вче-

рашний содовый хлеб и кусок соленого масла. Поешь, Кэтти, а то от твоей талии скоро ничего не останется, переломишься от первого же порыва ветра.

Это была их маленькая, простая, нищая жизнь.

Они жили в трущобах, о которых богачи из южных кварталов предпочитали не вспоминать. Зимой стены дома промерзали до инея, а на ужин неделями была лишь разваристая овсянка да пара картофелин в мундире. Но в их доме никогда не селился настоящий холод.

Потому что в нем жила память о матери.

Она сгорела от чахотки за считанные недели, когда Кэтлин едва исполнилось семь. Но оставила после себя столько света, что его хватило на годы вперед. Кэтлин помнила, как мама кружилась босиком по этой самой мастерской под шипение старого граммофона, как шила из копеечной марли летящие наряды морских фей и повторяла отцу, что их крошечный дом богаче всех хранилищ Банка Ирландии. Шон так и не оправился от ее ухода. Он не привел в дом мачеху, не искал утешения на стороне — он вложил всю душу в дочь и в ремесло. Каждое утро они делили краюху хлеба, кроили плечом к плечу, спорили о свойствах плотной шерсти и были несокрушимой крепостью из двух упрямых О'Ши против целого света.

Однако у девятнадцатилетней Кэтлин была одна тайная страсть, о которой знали лишь портовые чайки да пыльные балки чердака.

Раз в неделю, на рассвете по средам, когда у особняков вокруг площади Мэррион и дорогих лавок Грэфтон-стрит выставляли мусорные контейнеры, она выходила на свою тайную охоту.

Пока сонная прислуга богатых домов только разжигала камин, Кэтлин ловко выскальзывала из переулков. Ее не интересовали брошенные вещи или объедки со стола. Она искала сокровища.

Выброшенные, залитые кофе или вином, с оторванными обложками иностранные журналы: французский *Vogue*, британский *Harpers Bazaar*, помятые каталоги парижских кутюрных домов, которые привозили из Европы жены дипломатов.

Она прятала эти размокшие бумажные стопки под шалью, мчалась на чердак, закрывала дверь на засов и начинала священнодействие.

Осторожно, боясь порвать тончайшие листы, она раскладывала слипшиеся страницы на доске и проглаживала их через сухую тряпку теплым отцовским утюгом. В ее комнате под самой крышей сладко пахло нагретой типографской краской, мелом и мечтами.

Кэтлин могла часами, затаив дыхание, разглядывать модели Кристиана Диора и Кристобая Баленсиаги. Осиные талии, затянутые в идеальные корсеты, драпировки из тяжелой тафты цвета полуночного неба, летящие юбки-колокола из сотен метров тюля. Для нищей девчонки из доков это были

окна в параллельную, сияющую вселенную.

Она брала обрывки грубой оберточной бумаги, в которую на верфях заворачивали рыбу, угольки из печи и с яростным вдохновением перерисовывала силуэты. Она ломала каноны, заостряла линии плеч, экспериментировала с геометрией глубоких вырезов, шепча себе под нос: «Здесь ткань должна падать водопадом... а подол нужно рассечь до самого бедра, чтобы при каждом шаге звенел шелк!».

И, конечно же, как любая юная девушка, она мечтала о любви.

Сидя у слухового окна и глядя на то, как серые тучи цепляются за шпили соборов, Кэтлин представляла своего сказочного избавителя.

В ее девичьих грезах он не походил на грубых, пропахших рыбой матросов. Ее принц представлялся высоким, статным мужчиной с благородными, глубокими глазами и тихим, мягким голосом. Он непременно должен был носить безупречно скроенное шерстяное пальто глубокого угольного оттенка, пахнуть хорошим табаком, дождем и свободой.

Она грезила о том, как однажды на их темной, убогой улице остановится блестящий черный экипаж. Мужчина поднимется по деревянным ступеням, увидит сквозь пыльное стекло ее эскизы, снимет шляпу и скажет: *«Твои руки созданы для шелка, рыжая. Пойдем со мной, я покажу тебе Париж»*. Он полюбил бы ее отца, помог бы ему открыть светлое ателье в центре города, а саму Кэтлин берег бы как величайшую

драгоценность, целуя ее испачканные мелом и исколотые иглами пальцы.

Кэтлин О'Ши не знала, что сказки не выживают в соленых туманах Норт-Уолла.

Она не знала, что мужчина в безупречном черном кашемировом пальто действительно однажды переступит порог их мастерской. Только в его глазах не окажется благородства — там будет лишь застойная, мутная тьма. В кармане его пальто будет лежать долговая расписка ее отца, а в его ухоженных руках — железный капкан, который переломает ей кости, сожжет иллюзии дотла и навсегда вытравит из ее души способность верить в принцев.

Глава 2. Вспышка на мокрой брусчатке

Субботний полдень в районе доков не сулил ничего, кроме промозглого холода и тяжелой работы.

Кэтлин шла по набережной с огромным рулоном темно-синей шерсти в руках. Ткань весила добрых пуда полтора, морозный ветер с залива трепал подол ее скромного шерстяного платья, а пряди непокорных медных волос, выбившись из-под старой вязаной шапки, липли к влажным щекам. Пальцы в перчатках занемели от ледяного воздуха, но в ее широком, упругом шаге чувствовалась та самая дикая, первобытная грация, которую невозможно вытравить ни тяжелым трудом, ни дублинской нищетой.

Возле перекрестка у Таможенного моста грузовой конный экипаж резко сдал назад, обдав тротуар фонтаном серой грязи и ледяной крошки.

Кэтлин отшатнулась, каблук стоптанного ботинка соскользнул на мокром булыжнике, и тяжелый рулон шерсти предательски выскользнул из рук.

Она приготовилась к неизбежному падению, зажмурившись и втянув голову в плечи.

Но удара о камень не последовало.

Вместо этого стальная, невероятно мощная хватка перехватила ее поперек талии прямо на лету. Ее спину впечатало в широкую, твердую мужскую грудь с такой сокрушительной, непререкаемой силой, что из легких Кэтлин вышибло весь воздух коротким, сдавленным стоном. Свободная рука незнакомца в дорогой кожаной перчатке на лету поймала падающий рулон ткани, легко подбросив его и удержав у своего бедра.

— Осторожнее, птичка. В этих доках мостовая не прощает неловких движений.

Голос прозвучал над самым ее ухом.

Это был не сиплый лающий говор местных докеров. Это был глубокий, вибрирующий в самой диафрагме бархатный баритон — тягучий, как выдержанный коньяк, с легкой ленивой хрипотцой, от которой по позвоночнику Кэтлин сверху донизу прошел резкий, электрический импульс.

Она замерла, все еще прижатая к нему спиной, чувствуя, как через тонкую шерсть ее платья пробивается обжигающее тепло его тела. Он не торопился ее отпускать. Широкая ладонь мужчины лежала точно на ее талии, пальцы в тонкой коже уверенно сжимали изгиб бедра, медленно, почти гипнотически подтягивая ее к себе вплотную.

Кэтлин резко повернула голову, чтобы выдать дежурную порцию портовой дерзости... и слова застряли у нее в гортани, обратившись в горячую золу.

Перед ней стоял мужчина, словно сошедший со страниц

тех самых тайных парижских журналов, которые она гладила утюгом на чердаке.

Ему было слегка за тридцать. Высокий, под два метра ростом, с породистым разворотом плеч гладиатора, затянутых в безупречное длинное пальто из черного кашемира Савил-роу. Но не пальто заставило ее сердце пропустить сразу три судорожных удара.

Лицо.

Хищное, с выточенными резкими скулами, бледной аристократической кожей и коротко остриженными смоляными волосами. На нем читалась смертельная, первобытная мужская мощь, не знающая компромиссов. А глаза... Глаза Киллиана Вэнса были цвета застывшей морской бездны — зелено-серые, светящиеся пугающим, гипнотическим блеском.

В ту секунду, когда их взгляды встретились в упор, воздух между ними словно наэлектризовался до температуры плавления стекла.

Киллиан замер.

Его пальцы на ее талии инстинктивно сжались до глухого стога Кэтлин, сминая ткань платья. На его лице, привыкшем отдавать приказы об убийствах и казнях, впервые дрогнула холодная маска.

Он просто потерял дар речи.

Перед ним стояла не портовая замухрышка. Шапка съехала, и буйная грива медно-огненных волос рассыпалась по ее плечам, сверкая в сыром сером воздухе расплавленным

золотом. Изумрудные, раскосые, неистовые глаза девушки смотрели на него без страха — с тем дерзким, животным вызовом, которого Киллиан не встречал ни у одной женщины в мире. Ее высокая грудь судорожно вздымалась под тонкой тканью прямо напротив его ребер, пухлые, тронутые холодом губы были полуоткрыты в прерывистом дыхании, а на щеках горел лихорадочный, соблазнительный румянец.

Взгляд Киллиана потемнел, зрачки расширились на всю радужку, поглощая свет. В его глазах вспыхнул такой дикий, ненасытный, ослепляющий голод, от которого у Кэтлин подкосились колени.

Мужчина медленно, с трудом сглотнул. Мышцу на его тяжелой челюсти дернулся, кадык напряженно поднялся и опустился: — Кто ты такая?.. — прошептал он.

Это не был вопрос господина. Это был сорванный шепот человека, которому в грудь только что вонзили клинок по самую рукоять.

Он не разжал объятий. Напротив — Киллиан медленно опустил тяжелый рулон ткани на сухой деревянный настил у витрины, не отрывая от нее глаз. Затем его вторая рука медленно, плавно, не допуская сопротивления, легла на ее плечо, скользнула по изгибу шеи, и кончики пальцев в мягкой коже коснулись ее обнаженной ключицы.

Прикосновение обожгло, как огонь.

По коже Кэтлин побежали колючие мурашки, дыхание перехватило, а в самом низу живота тугим узлом завязалось тя-

желое, пульсирующее, невыносимо горячее томление. Воздух вокруг пахнул его парфюмом — горьким табаком, дымным ветивером, кедром и ледяным дождем. Этот запах одурманивал хлеще самого крепкого опиума.

Она должна была оттолкнуть его. Должна была влепить пощечину, закричать, вырваться. Но ее тело предательски отказалось подчиняться разуму. Она стояла в кольце его рук, прижатая к его массивному бедру, чувствуя твердость каждого мускула его тела, и смотрела в его темнеющие глаза, не в силах отвести взгляд.

— Кэтлин, — сорвалось с ее губ пересохшим, чуть хриплым шепотом. Имя прозвучало не как защита, а как признание капитуляции.

Уголок губ Киллиана медленно, едва заметно приподнялся в хищной, сводящей с ума полуулыбке.

Он наклонился ближе. Так близко, что его теплое дыхание коснулось мочки ее уха, заставляя Кэтлин тихо, прерывисто выдохнуть. Его губы едва заметно мазнули по ее пульсирующей жилке на шее — намек на поцелуй, обещание абсолютного обладания.

— Кэтлин... — повторил он ее имя так, будто пробовал на вкус запретный плод. Голос Киллиана вибрировал от сдерживаемой страсти, пальцы на ее талии властно притянули девушку еще на миллиметр ближе...

Глава 3. Сладкий яд

Принц из ее грез носил пальто цвета угля.

Кэтлин поняла это не сразу — понятие слетело с ее губ лишь неделю спустя, когда она стояла перед зеркалом в новом платье и пыталась объяснить отцу, почему ее глаза сияют, как окна собора на рождество. В ту промозглую субботу на набережной, когда незнакомец подхватил ее на лету вместе с рулоном шерсти, все сложилось: черное кашемировое пальто, запах дорогого табака, холодного дождя и свободы. Точный портрет из ее чердачных фантазий, сошедший с пожелтевших страниц мадридского Vogue.

Она еще не знала, что судьба умеет подделывать мечты с точностью фальшивомонетчика.

В понедельник к мастерской подъехал черный автомобиль с водителем в униформе. Мальчишка-курьер вручил отцу пакет: внутри был тот самый рулон синей шерсти — выглаженный, обернутый в шелковую бумагу, — и визитная карточка из плотного картона. К. Вэнс. И ни строчки больше.

Отец взял карточку так, будто она была раскаленной. Он вышел во двор, долго сжигал бумагу над ведром, а вечером впервые за много лет не притронулся к ужину.

Кэтлин решила, что он простужен.

Во вторник в мастерскую доставили корзину — не цве-

тов, а специй, экзотических фруктов и настоящего цейлонского чая, от которого весь дом запах Индией. В среду пришла книга — лондонское издание с пластинами брюссельской моды пятидесятих годов, с закладкой из красного атласа на странице, где был изображен женский костюм с остро срезанным плечом. На полях чужим, острым, красивым почерком было выведено: «Здесь плечо должно быть острее. Ты была права».

Он читал ее мысли. Он помнил ее слова, брошенные мимоходом, — и это было отличным поводом поставить еще больше очков дублинскому принцу. Девушки из доков ее возраста получали конфеты и записки с пошлыми стишками. Кэтлин О'Ши получила собеседника, который разговаривал с ней о драпировках, о плотности саржи, о том, почему бургундский убивает рыжих, а изумрудный — поднимает на трон.

В пятницу он приехал сам.

Шон О'Ши встал у верстака, как осужденный перед судьей, и весь вечер просидел в дальнем углу, сшивая подкладку дрожащими руками. Кэтлин же позволила увезти себя в отель «Шелбурн» на Сент-Стивенс-Грин — туда, где она ни разу в жизни не была даже на пороге. Официанты склонялись перед Киллианом, как перед епископом. Зал гудел, но их столик существовал в отдельно созданной тишине. Он снял с вешалки ее мокрый дешевый плащ, и на секунду — на одну короткую, опаляющую секунду — его пальцы легли

на ее обнаженные плечи. Кэтлин забыла, как дышать.

— Ты пьешь чай с молоком, — констатировал он не возпросом, глядя, как она мнет меню. — И кладешь сахар вторым. И держишь чашку за ушко всеми пятью пальцами, как держат ее только в порту.

— А вы подглядываете за портовой девчонками, мистер Вэнс? — огрызнулась она, и уши ее предательски запылали.

— Я слежу лишь за тем, что собираюсь иметь, — он сказал это буднично, как говорят о покупке дома или скаковой лошади, и Кэтлин сглотнула, не поняв — испугаться ей или растаять.

Она растаяла. Господи, как она растаяла.

Он не спешил. В этом и заключался гений его осады.

Три недели он просто разговаривал с ней. Он привозил отрезы — настоящий шелк, шантунг, крепдешины, которые она трогала пальцами, как трогают чужого младенца. Он слушал ее голос — по-настоящему слушал, подперев скулу ладонью, не отводя тяжелых зеленых глаз, и она болтала без умолку о выточках и лекалах, чувствуя себя самой интересной женщиной Ирландии. Он единственный на свете не смеялся над ее мечтой.

— Твой отец растратил талант на матросские штаны, — однажды сказал он, лениво вертя в пальцах бокал. Вздувшаяся вена на его запястье была спокойна, голос — мягок, как замерзший жир. — А ты растратишь его на нищих. Есть способ вырвать вас обоих, птичка. Но до времени. Всё в свое

время.

Кэтлин не расслышала второго. Она была слишком занята первым — тем, как он сказал «вас обоих».

Отец плакал в эти недели. Тихо, по-мужски, отвернувшись к окну, когда думал, что она спит. Его долги разрастались, как плесень по стене, — Кэтлин видела новые расписки, спрятанные под стельками его ботинок, но, слепая, глухая, опьяненная, она придумывала этому тысячи объяснений. Он устал. Он болен. Он стареет.

А однажды в мастерскую привезли двенадцать метров жемчужно-серого шелка и записку: «Тебе. Пусть отец сошьет. Говорят, в порту нет никого лучше».

Отец шил то платье три ночи, и руки его дрожали так, что Кейт потом всю жизнь узнавала эту дрожь в каждом неровном стежке. Кэтлин же, надев платье, кружилась перед зеркалом, не замечая, что по щекам отца катятся слезы.

Это случилось в конце января, в его доме на холмах Килки — белом георгианском особняке, откуда через панорамные окна открывалась черная, гудящая громада дублинского залива.

Он вызвал ее в семь. Она приехала в восемь — и не смогла бы сказать, зачем врала отцу, зачем шла последнюю милю пешком сквозь ливень, зачем сердце колотилось, как перед выходом на помост. Огонь в камине пах вереском. На рояле лежали ее собственные чердачные эскизы — украденные из тетради, украденные у нее на глазах месяц назад. Он держал

их месяц. Он хранил их.

— Ты крал у меня... — выдохнула она.

— Я забирал свое, — спокойно ответил Киллиан и пересек комнату.

Дальше всё случилось быстро и медленно одновременно.

Он поцеловал ее первым — нет, сначала он просто прижал ее спину к холодной дверце рояля, и она почувствовала весь его вес, всю его несокрушимую мужскую тяжесть, и тихо, коротко всхлипнула от одного этого. Его губы пахли виски и дымом. Поцелуй не был нежным — он был неспешным, суверенным, как вступление во владение. Его ладонь вошла в тяжелые медные волосы, мягко сжала затылок, запрокидывая ее голову, и язык Киллиана медленно, глубоко, хозяйски прошелся по ее приоткрытым губам, научая их открываться.

Кэтлин горела. Пламя шло от ключиц вниз, сворачиваясь в низу живота в тугой, дергающийся узел. Она слышала собственное сердце — гулко, оглушительно. Ее пальцы сами, без разрешения, вцепились в лацканы его пальто, мяли дорожную шерсть, тянули его ближе, ближе, и он усмехнулся ей в губы — низко, утробно, и от этой усмехи, которая она почувствовала губами, между лопаток побежал жар.

Его рука соскользнула с талии на бедро. Пальцы — медленные, уверенные — собрали тяжелую ткань платья, поползли выше, к голой коже выше чулка...

— Нет! — она вырвалась, упершись ладонями ему в грудь, и отскочила к камину, задыхаясь. — Нет, Киллиан... я не

могу...

Он остановился мгновенно. Ни один мускул не дрогнул в его лице — только зрачки были черными, распахнутыми, голодными до бешенства.

— Не могу... так, — она смотрела в пол, и щеки ее пылали огнем. Слова, которые она репетировала всю дорогу из города, сворачивались в ком. — Я... я нетронутая, Киллиан. Это... это достанется моему мужу. Мне больше нечего предложить, я бедная, я из грязи, но вот это — вот это я сберегу. Нужна ли я тебе... ты знатный, у вас всё есть, а у меня только это, и я...

— Кэтлин.

Один ее голос. Она подняла глаза.

Киллиан стоял, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, — огромный, темный, не отошедший ни на шаг, — и смотрел на нее с такой плотоядной, сжигающей нежностью, что у нее подогнулись колени.

— Иди сюда, — сказал он тихо.

И она пошла. Через комнату, сквозь горячий воздух, сквозь трезвон во всем теле — пошла, как идут к алтарю и на эшафот.

Он перехватил ее у самого камина, но не поцеловал. Вместо этого медленно, не сводя глаз с ее лица, опустился перед ней на одно колено — двухметровый, тяжелый, властный, вставший на колено, как перед королевой, — и его пальцы нашли подол серого шелка.

— Значит, мужу, — повторил он бархатным голосом, и его дыхание обожгло ей колени сквозь тонкую ткань. — Хорошо, птичка. Я подожду. Но для мужа ты всё равно идешь слишком зеленая... А я не выношу, когда моя женщина не знает, что такое небо. Позволь мне научить тебя первому слову.

Она не успела ни ответить, ни испугаться. Его пальцы подняли подол, и горячая ладонь легла на голую кожу ее бедра — выше чулка, на самую мягкую, дрожащую внутреннюю сторону, — и Кэтлин коротко, судорожно ахнула, вцепившись ему в плечи, чтобы не упасть.

— Киллиан...

— Тихо, — прошептал он ей в живот, и от вибрации его губ сквозь шелк у нее свело спину. — Стой. Просто стой. У тебя красивые ноги, птичка. Самые красивые ноги в Дублине... Сейчас я покажу тебе, что с ними делают мужчины, которые умеют ждать.

Он коснулся ее губами — сначала колена. Потом выше. Каждый поцелуй был отдельным пожаром, неторопливым, обстоятельным, как расплата по счету. Внутренняя сторона бедра — самая нежная, самая девичья кожа, которую не касался еще никто на свете, — дрожала под его ртом, и Кэтлин, запрокинув голову, глотала воздух ртом, чувствуя, как рушится позвоночник, как город за окнами переворачивается вверх дном.

А потом его язык коснулся ее — впервые в жизни, — и

мир Кэтлин ОШи закончился.

Она вскрикнула — коротко, надтреснуто, испуганно, и попыталась отстраниться от неприличности, от стыда, от неземного, невозможного sensation, но руки Киллиана легли ей на ягодицы, стальные и окончательные, прижимая ее к своему рту намертво. И дальше не было ни стыда, ни Дублина, ни дождя. Его язык двигался медленно, глубоко, с мучительным, выверенным терпением человека, который умеет растягивать наслаждение до предела человеческой выдержки. Он лизал ее неторопливо, смакуя, глухо, по-хозяйски стоя от вкуса, и каждый его утробный звук отдавался у нее между ног электрическим разрядом.

— О господи... Киллиан... я не... я, кажется, умираю...
— бормотала она, не узнавая собственного голоса — сиплого, чужого, громкого.

Он лишь зарычал ей в ответ — утробно, одобрительно, — и язык его ускорился, прижался тверже, нашел самое маленькое, самое бешено пульсирующее место и принялся терзать его круг за кругом, вверх-вниз, все быстрее, и тугой, невыносимый узел внизу ее живота затянулся до боли, до слез, до белого звона в ушах...

Волна накрыла ее неожиданно — как прилив накрывает стоящую по колено в воде. Кэтлин закричала, выгнувшись дугой, вцепившись пальцами в его темные волосы так, что ей стало больно самбй, — и полетела. Долго. Сильно. Через четыре, пять, шесть сокрушительных судорог, выбивших из

нее все стоны, все слезы, всю девичью гордость разом. Ноги не держали. Мир состоял из огня, его рта и собственного беззвучного крика.

Когда она вернулась с небес, она висела на нем всем весом, трясясь мелкой дрожью, а он поднимался с колена — спокойный, черный, с блестящими губами и глазами, в которых горело дьявольское, сытое торжество.

Он взял ее лицо в ладони и поцеловал — глубоко, медленно, дав ей попробовать на собственных губах вкус того, что он с ней сделал. Кэтлин задохнулась и не отстранилась.

— Вот так, — прошептал он ей в губы, и большой палец погладил ее пылающую скулу. — Запомни это чувство, птичка. Оно теперь мое. Как и ты.

И она — оглушенная, размякшая, неспособная связать два слова — наивная, слепая, влюбленная девчонка — прошептала в его шею:

— Значит, я твоя...

Это была не игра. Он не притворялся — в этом и был весь ужас. Киллиан Вэнс хотел ее с чистой, тяжелой, физической жадной зверя, почуявшего самку, и она тонула в этом желании, как тонут в черной воде: беззвучно, сладко, не успев позвать на помощь.

Так начались три месяца, которые Кэтлин потом не смогла бы вспомнить по отдельности — только сплошным, горячим, бессовестным пожаром.

Он звонил в мастерскую — всегда в разное время, всегда

одним коротким двойным гудком, — и она бежала. Бросала наполовину сметанные рукава, врала отцу про примерки у «приличных клиенток», летела сквозь дождь на другой конец города, где у служебного подъезда ждала черная машина. Он появлялся в ее жизни, как появляется вода в пустыне, — и она пила его при каждом зове, не спрашивая, из какого колодца эта вода.

Он был разным — и в этом была его страшная притягательность. Иногда он был щедрым до безумия: водил в рестораны, где официанты знали ее имя; купил ей часы — тонкие, женские, с изумрудной россыпью на циферблате, «под цвет глаз»; слушал ее болтовню о лекалах часами, не отводя тяжелых, жадных глаз. Иногда — жестоким в своей ревности: вывел из зала бармена, слишком долго смотревшего на нее; разорвал контракт с портнихой, которая посмела критиковать ее осанку. Она принимала и то и другое как проявления любви. Ведь в дешевых романах, спрятанных под ее матрасом, ревность считалась доказательством страсти.

А ночи... Ночи были отдельным адом и раем разом. Он научил ее телу — медленно, жадно, безжалостно, как учат музыканта, изучая каждую струну. Он знал теперь все ее слабые места: впадинку под ребрами, нервную дрожь под коленями, мочку уха. Он доводил ее до белого каления ртом и пальцами, растягивал, измывается с барской неторопливостью, слушая, как она, уже не стесняясь, хрипит его имя, — и всякий раз, когда она, теряя голову, сама тянула его на се-

ба, шептала с тяжелой улыбкой:

— Нет, птичка. Это — мужу. Ты сама так решила, помнишь? Я человек слова.

Она верила, что это нежность. Она не понимала, что это торговля, — что с каждой ночью откладываемой близости ее цена в его глазах росла, а свобода таяла.

Только дважды за эти три месяца туман в ее голове редел. Первый раз — когда она заметила, что отец перестал брать заказы: руки его так дрожали, что игла рвала ткань. Второй — когда на тротуаре перед пекарней она услышала, как два портовых грузчика, заведя проезжающий черный автомобиль, перекрестились и сплюнули.

— Вэнс, — сказал один, и слово было произнесено так, как произносят названия болезней.

Кэтлин обернулась. Стекло было тонировано; она не видела его лица. Но она знала — он смотрит на нее. И вместо холода по ее спине пробежала сладкая гордость: ее мужчину боятся даже портовые грузчики. Ее. Принц в кашемировом пальто.

Он сделал это в апреле, на мысе Хаут, где серо-стальная ирландское море билось о базальтовые скалы, а ветер рвал волосы и нес с собой крик чаек.

Они стояли у самого обрыва — он сзади, обхватив ее сзади руками, подперев подбородком ее макушку, — и Кэтлин, глядя на ревущую внизу воду, думала, что если сейчас умереть, то это будет самая полная, самая щедрая жизнь, какая

вообще выпадала девчонкам из Норт-Уолла.

— Выходи за меня, Кэтлин.

Она не обернулась. Сначала она решила, что ослышалась — что ветер, шум прибоя, ее собственная кровь, гудящая в ушах, спели ей желанное.

— Что?..

Киллиан развернул ее за плечи. Ветер швырял в его лицо темные пряди, глаза были цвета утреннего залива — мутно-зеленые, непроницаемые, — а на раскрытой ладони лежало кольцо. Большой старинный бриллиант в платине, толстый, массивный, дорогой настолько, что она почувствовала его вес, еще не надев.

— Я сказал: выходи за меня, — повторил Киллиан медленно, глядя ей прямо в глаза. — Я не прошу, птичка. Я общаю. Я три месяца дышу тобой, и мне это надоело. Я хочу просыпаться, зная, где ты. Хочу, чтобы твоя фамилия была моей. Хочу, чтобы весь этот чертов город видел, кому ты принадлежишь. Ты выйдешь за меня замуж, Кэтлин О'Ши, — и я построю тебе мастерскую в центре Дублина, из твоего отца сделаю самого дорогого портного Ирландии, а ты сошьешь такое, что Париж будет ездить сюда за тканями. Всё, о чем ты мечтала на своем чердаке, — я тебе это дам. За одно кольцо на твоей руке.

Слова падали на нее, как монеты в работающий колодец, — и каждое звенело ее собственной детской мечтой, вырванной с потрохами со страниц выброшенного Vogue: принц

в темном пальто. Мастерская в центре. Париж. Спасенный отец.

— Ты... — голос сорвался. Она схватила его за лацканы, заглядывая в глаза снизу вверх, ища там подвох, шутку, ошибку — и не находя ничего, кроме спокойной, тяжелой, всепоглощающей уверенности человека, который привык получать всё. — Ты хочешь жениться... на мне? На портовой девчонке?! Ты знаешь, кто я, Киллиан? Я никто! У меня ничего нет, кроме...

— Кроме, — он перехватил ее запястья, и кольцо, холодное и огромное, сомкнулось на ее левом безымянном пальце, безупречно, точно по размеру — он знал, — прежде чем она успела договорить. — Кроме всего. Ты — самая дорогая вещь в этом городе, Кэтлин. Всё остальное — пыль.

Она заплакала прямо ему на пальто — глупо, счастливо, взахлеб, — и он вытер ей слезы большим пальцем, и поцеловал — глубоко, властно, прижимая к себе так, что хрустнули ребра, — и Кэтлин, целуя его в ответ, сплетая пальцы с его пальцами, чувствуя холодное сияние камня, была абсолютно, ослепительно, безоговорочно счастлива.

Если бы она видела в эту секунду его лицо — поверх ее рыжей макушки, глядящее на бушующее море с той же застывшей, расчетливой пустотой, с какой смотрят на подписанный контракт, — она бы, возможно, испугалась.

Но она не видела.

Она вбежала в мастерскую, когда на улице уже темнело, — мокрая, растрепанная, сияющая, сжимая левую руку так, чтобы бриллиант ловил свет лампы.

— Па! Па, ты не поверишь! — она летела через коридор, сбивая мокрым плащом ножницы со стола. — Я выхожу замуж! Па, слышишь?! Он сделал мне предложение! Всё будет иначе, ты услышь — мастерская в центре, новые заказы, никаких больше долгов, па, мы спасены, ты понял?! Мы спасены!..

Шон О'Ши обернулся от верстака.

Он был страшен в эту минуту — постаревший за три месяца лет на десять, серый, с дрожащими губами. Он увидел кольцо. Он узнал руку, на которую оно надето. Он, портной, за три месяца нашивавший шевроны на форму для людей синдиката, знал цену этому бриллианту лучше, чем кто-либо в Дублине.

— Кэтти, — прошептал отец. Он опустился на табурет, и дерево жалобно скрипнуло под его весом. — Кэтти, ради всего святого... кто тебе сделал предложение? Скажи мне имя. Скажи мне, умоляю, что я ошибся.

— Киллиан Вэнс, па! — она засмеялась, протягивая руку, чтобы блеск осветил его серое лицо. — Мистер Вэнс! Он просил моей руки, папа! Он обещал...

Шон О'Ши медленно, очень медленно перекрестился. Потом — она видела это впервые в жизни — заплакал. Молча, не вытирая слез, глядя на нее так, как смотрят на человека,

шагнувшего в открытый люк, и не успевшего еще долететь до дна.

— Господи, — сказал он тихо. — Нет. Господи, только не это...

Кэтлин перестала улыбаться.

Она решила, что отец плачет от счастья — просто он старый, простой человек и не умеет носить радость, как носят ее богатые. Она решила, что всё объяснит ему завтра. А сегодня можно было быть только счастливой.

Снаружи, за мутным стеклом мастерской, через дорогу, стоял черный автомобиль. Он не гудел и не мигал фарами. Он просто ждал — терпеливо, как ждут, когда сомкнется капкан, — и в темноте салона тлел красный огонек сигареты.

Глава 4. Триста восемнадцать фунтов

Есть ложь, которая тонет медленнее правды. Кэтлин О'Ши тонула первые полгода — и не замечала воды, потому что вода была подогрета, подслащена и называлась будущим.

Апрель лился золотом. Киллиан назначил свадьбу на конец сентября — «пусть груши нальются, птичка, и гости привезут корабли вина из Бордо». Она сама кроила подвенечное платье — как положено дочери портного, — раскладывала на отцовском верстаке жемчужно-серый шелк, купленный на его деньги, и остриём мела выводила линию талии, от которой у самой перехватывало дыхание. Киллиан приезжал к мастерской каждый вторник — всегда в разное время, всегда с подарком: кружевные перчатки, флакон духов от парфюмера с Джервис-стрит, изумрудные серьги «в тон глаз, чтобы весь Дублин слеп, глядя на тебя». Двойной гудок телефона больше не звал её через город — теперь он приезжал сам, и это казалось заботой.

Позже, много позже, стоя у окна номера в парижском отеле, Кейт поймёт: забота — это когда открывают двери. А когда окна, — это уже решётка.

Но в апреле она ещё не считала решёток.

Всё треснуло в последний вторник мая.

Она возвращалась с Грэфтон-стрит — несла пуговицы из перламутра для свадебного корсажа, — и ещё из-за угла увидела у мастерской чужой чёрный автомобиль. Двое мужчин выносили коробки: сшитые костюмы, отглаженные рубашки, связки отцовских работ, которые ждали заказчиков. Отец стоял на пороге — белый, без сантиметровой ленты на шее, и без ленты он казался голым.

Третий сидел на отцовском табурете. Маленький, вежливый, с оловянной пломбой, поплёскивавшей при улыбке. Он поднялся навстречу Кэтлин с той же отточенной любезностью, с какой официанты «Шелбурна» склонялись перед Киллианом, — и эта вежливость была страшнее любого крика.

— Мисс О'Ши. — Он снял шляпу. — Скалли. Мы с вашим отцом старые партнёры по счётам. — олово во рту вспыхнуло. — Забираем готовое. В счёт, так сказать. Передайте отцу, что среда нас устроит. И передайте, что мистер Вэнс спрашивал о её здоровье.

Автомобиль уехал. Половина зимнего запаса крамольного серого сукна уехала с ним.

Ночью Кэтлин села напротив отца, сдвинула лампу к самому его лицу и не позволила ему отвести глаза. Шон О'Ши сопротивлялся недолго — неделю он был трезв, и трезвость выела его изнутри, как ржавчина выедает киль. Он достал из-под половицы жестянку из-под табаку и вывалил на верстак

горсть векселей — мягких, истёршихся на сгибах, с чужими твёрдыми подписями.

— Пять лет, Кэтти, — голос у него был как старый сито. — Сначала на шерсть. Заказчик разорился — шерсть осталась, долг остался. Потом на лекаря, когда твою мать харкали кровью... Потом просто — чтобы вечер был тише. Проценты капали, как вода в трюм. Синдикат не давил: терпеливые они люди, терпеливее самого дьявола. А в декабре пришли и сказали — долги твои выкуплены, Шон, с тебя больше не спрашивают.

— Кто выкупил?

Отец долго смотрел в лампу. Потом перекрестился — коротко, привычным движением, от которого у неё всегда сжималось сердце.

— Вэнс, — сказал он. — Киллиан Вэнс. Он сидел на твоём табурете, пил твой чай и два часа говорил со мной вежливее, чем епископ. А на пороге обернулся и спросил: «А дочь у тебя в кого такая рыжая, Шон?» — и я понял, что всё, что дальше, уже решено и подшито. — Он сглотнул. — Триста восемнадцать фунтов и шесть шиллингов, Кэтти. Пять лет. И «сведём счёты в апреле», сказал он. Апрель. Помнишь апрель?

Кэтлин помнила апрель. Мыс Хаут. Кольцо весом в приговор.

— Долг не умирает, девочка, — отец произнёс это в пустоту, глядя сквозь неё в тёмное окно, за которым стонали

мачты на Лиффи. — Он переезжает. Из кассы — в кровь. Из отца — в дочь. У них там в конторе это так и называется: перевод долга на актив.

Он не сказал тогда главного. Главного она узнала сама — через два дня, из других уст.

В Килки она приехала в дождь, без зонта, на последней конке, — мокрая, с векселями, завёрнутыми в отцовский носовой платок. Миссис Дауэт проводила её в кабинет, и в глазах у экономки Кэтлин впервые заметила не сочувствие даже, а жалость — ту особую, комнатную жалость прислуги, которая знает о доме всё.

Киллиан разливал виски. Услышав, как звякнули векселя о дуб столешницы, он не обернулся.

— Устраивайся.

— Убери руки от моего отца, — сказала она. — Я знаю сумму. Я приехала торговаться.

Тогда он обернулся. И — она запомнила это на всю жизнь — улыбнулся не змеиной улыбкой соблазнителя, а устало, почти с нежностью, как улыбаются ребёнку, который впервые принёс в дом мокрого щенка и просит оставить.

— Торговаться, — повторил он. Подошёл, взял у неё из рук платок, развернул векселя и — лист за листом, неторопливо, по одному — разложил их веером по столу, ровняя края, будто раскладывал пасьянс. — Сядь, Кэтлин. Я расскажу тебе про цены. Ты из семьи портного, ты должна понимать: у всего есть лекала.

— Двадцать шестого декабря я подписал бумаги на твой дом, — сказал он, присаживаясь на угол стола, вплотную, чтобы она чувствовала тепло его плеча сквозь фланель. — Триста восемнадцать фунтов шесть шиллингов — я заплатил синдикату чetyреста. Переплатил, ты понимаешь? Переплата — единственный честный поступок в этой сделке. Потому что я знал, что покупаю не бумагу. — Он провёл пальцем по краю векселя. — Я покупал тебя. Всё остальное было упаковкой.

Комната качнулась. Камин зашипел вереском.

— Ты когда-нибудь спрашивала себя, почему я оказался в ту субботу на набережной? — продолжал он тихо, почти ласково. — Почему именно у Таможенного моста, именно в полдень, именно там, где мостовая ходит под ногами? Я шёл не к тебе, птичка. Я шёл от твоего отца. Домой. Я два года забирал у него по вторникам деньги, которые тот не мог вернуть, и два года мимо этого дома ходил человек, который умел считать чужие таланты, как ростовщик считает проценты. Я видел, как девчонка с медными волосами тащит рулон сукна — рулон больше её самой. Я выяснил, кто её отец. Я выяснил, сколько он должен. Я купил долг — и стал ждать. — Он сглотнул, и кадык дёрнулся, как в ту первую субботу. — Единственное, чего я не рассчитал, — это то, что было на улице. В остальном, поверь, аптекарская точность.

— Врёшь, — прошептала она. — Всё было по-другому. Рулон. Дождь. Ты поймал...

— Бричка, что плеснула на тебя грязью, была моя. — Он сказал это буднично, как сообщают время. — Мостовая скользкая. Мне нужен был повод.

Пол под ногами Кэтлин перестал быть полом. Пять лет — все пять лет, с чердака, с мечтами, с журнальными страницами, проглаженными утюгом, — рухнули в одну точку. Она вспомнила всё разом: как он пах дождём и свободой. Как держал чашку. Как знал про сахар вторым. Как цитировал её собственные мысли с полей чужой книги.

— Тетрадь, — услышала она свой голос. — Ты читал мою тетрадь.

Киллиан подошёл к книжному шкафу, достал с верхней полки потрёпанную тетрадь в обёрточной бумаге — её, чердачную, с угольными силуэтами и записями на полях, — и раскрыл на странице, помеченной угольной звёздочкой. Он не читал вслух по бумажке. Он читал наизусть.

— «Мой будет в пальто цвета угля. Пахнуть будет табаком, дождём и свободой. Глаза — глубокие, голос — тихий. Под окнами простоит молча и не попросит ничего, кроме руки»... — Он закрыл тетрадь и посмотрел на неё поверх. — Я месяц учил твою мечту наизусть, Кэтлин. Прежде чем надеть её на себя. Ты влюбилась не в меня. Ты влюбилась в собственный эскиз. Я оказался просто достаточно хорошим портным.

— Это была... — губы не слушались, — это было настоящее. Всё было настоящее.

— Всё было настоящее, — легко согласился он. — Настоящее — лучшая ткань. Её не отличить от кутюра, пока не посмотришь на изнанку. А изнанка, птичка, вот она. — Он ладонью повернул её лицо к столу, к вееру векселей. — Твой отец — лучший закройщик восточного Дублина и худший плательщик Лиффи. Синдикат терпел его ради золотых рук. Я купил долг ради той же цифры: его дочь — единственный актив в этом городе, стоящий дороже отцовских векселей. Я выбирал тебя по родословной, Кэтлин. Как выбирают скаковую. И заметь — не прогадал.

Она ударила его. Всей ладонью, от плеча, вложив туда и чердак, и умершую мать, и отца со спитым голосом, и серый рулон, и мыс Хаут.

Он поймал её запястье в шести дюймах от собственного лица. Не дрогнув. Не поморщившись. Только потемнел весь, разом, — и мир в кабинете стал другим, как становится другим глаз, когда в него попадает искра.

Пальцы сжались. Кость хрустнула в его хватке — ещё не ломаясь, но честно предупреждая, что может. Он притянул её вплотную, и она почувствовала его дыхание — виски и дым, запах её девичьих снов, — и от этого стало по-настоящему страшно впервые за все месяцы.

— Запомни, — сказал он очень тихо, и каждый звук был weighen, как монета на весах. — Я не трогаю то, что покупал два года. Но если ты ещё раз занесёшь на меня руку — я начну брать с тебя проценты. И, поверь моему опыту, у че-

ловеческого тела очень удобные места для списания.

Он разжал пальцы. Поправил ей мокрый воротник — заботливо, по-хозяйски, разгладив складку у горла, — и Кэтлин, стоя перед ним с горящим запястьем, поняла страшнейшее из всего, что она узнала за этот вечер: её тело при нём дрожало не только от ужаса. И это предательство собственного пульса испугало её сильнее любой угрозы.

Дальше полгода шли, как идёт прилив: не спрашивая, просто забирая улицу за улицей.

Июнь. Её перевезли в Килки — «до свадьбы, приличные люди болтают». Комната была из сказки: шёлк обоев, камин, белая постель. Окна открывались на два пальца — «сквозняки, мисс», — объясняла миссис Дауэт. Письма приходили вскрытыми: Кэтлин находила надрезы на клапанах, тонкие, лезвием, аккуратные, как у человека, которому платят за аккуратность. Шофёр Мёрфи возил её по городу — в ателье, к модистке, в «Шелбурн» на чай, — и всюду ее дожидались с почтительной покорностью, потому что автомобиль имел на дверце маленькую серебряную «К.В.».

Там же, в июне, появились корсеты. Парижский чемодан с двадцатью нарядами — и среди них утянутые, жёсткие, с косточками из китового уса, «для осанки невесты». Киллиан шнуровал их сам. Стоял сзади, упёр колено в её поясницу и тянул — мерно, терпеливо, как тянут гик паруса, — и воздух уходил из неё ладонными порциями, пока перед глазами не

загорались звёзды.

— Дыши через рот, птичка, — советовал он ей в затылок, целуя позвонок между лопаток. — Так учат петь канареек. В верхнем регистре.

Когда шнур доходил до предела и её талия становилась тем, чем положено быть по лекалам сезона, он медленно распускал шнуровку — палец за пальцем, виток за витком, — и всё это время гладил её обнажённую спину, и дрожь её была не только от притока воздуха. Она ненавидела себя за эту дрожь ярче, чем ненавидела его.

Июль. Первая и единственная удачная ложь: подкупленный на полтора часа Мёрфи «заглянул в паб», и Кэтлин добежала до Норт-Уолл пешком. Отец был пьян в стельку — впервые за два месяца, — и в пьяном бреду говорил правду вперемешку с кошмарами: «Я нашёл способ, Кэтти. Двенадцать фунтов — и твоя расписка чиста... спрашивал про билеты... парохед на Холихед, спроси любого, ходят по средам...»

Через день Киллиан сказал ей за завтраком, не поднимая глаз от газеты:

— Твой отец приходил в порт и спрашивал расписание. — Шуршание страницы. — Билеты на двоих, догадываюсь. — Ещё страница. — Я закрыл его проценты снова. В четвёртый раз. — Теперь он посмотрел на неё, и глаза были цвета застоя воды. — Давай договоримся о курсе обмена, Кэтлин, чтобы потом не торговаться. Каждый твой шаг, которого я не

одобрил, оплачивается из его кожи. Ты поедешь к нему — я спишу с него заказ. Ты соврёшь мне — он потеряет мастерскую. Ты сбежишь — я не стану тебя искать, птичка. Зачем искать то, что само вернётся, узнав, что осталось от отца. Это не угроза. Это преискурант.

С тех пор Кэтлин улыбалась, когда хотелось кричать, и ела, когда подступала тошнота.

Август пришёл туманом.

В четыре утра в дом постучали. На отмели у Таможенного моста — на том самом месте, где мокрая брусчатка когда-то «предательски» выскользнула из-под её ног, — нашли Шона О'Ши. Сапоги, вода, сердце, — сказал инспектор, зевая. Ночь была ясная, вода спокойная, а покойный, по словам всех, кто его знал, любил джин.

— Он плавал, как выдра, — Кэтлин кричала в лицо молодому констеблю, и её трясло. — Он вырос на баржах! Он трижды вытаскивал утопающих из Лиффи! Даже пьяным он тонуть не умеет — он не умеет!

Её увезли. На похоронах шёл дождь, и Киллиан держал над ней чёрный зонт, и его плечо было тёплым, и пальцы — бесконечно бережными на её затылке, и она плакала в это кашемировое пальто цвета угля, потому что больше плакать было не в кого. Надгробие он оплатил сам: «Шон О'Ши. Лучший закройщик восточного Дублина». Эпитафию выбирал убийца.

Вечером, разбирая отцовскую жестянку —синдикат вер-

нул ей всё, что от него осталось, — она нашла на дне «ласточку»: тонкую иглу, которую отец вечно держал в губах, и лоскут той самой синей шерсти, первого рулона. Она кроила траурное платье сама — дочь портного не позволяет шить чужим, — и тем же вечером, одна, при единственной свече, зашила иглу и лоскут в шов подкладки, у самого сердца. Так у них в доках провожают в последнее плавание: вложи в одежду кусок себя — и вода тебя узнает и пощадит.

Вода его не пощадил. Но, может, узнала.

Сентябрь снял последнюю маску — вместе со свадьбой.

— Планы изменились, — сказал Киллиан за ужином, на котором впервые сидели гости. — Отложим до... — он повёл бокалом в воздухе, как взвешивая слово, — до лучших рынков.

Гости ей понравиться не могли. Жирный мистер Мёртлоу из Манчестера с бриллиантовой булавкой в галстук разглядывал её руки дольше, чем лицо, и спросил в упор:

— Дорогой Киллиан, уверен, что она переживёт дорогу?

— Она пережила меня, Джералд, — Киллиан улыбнулся.

— Дорогу переживёт.

И над столом засмеялись — мягко, дружелюбно, как смеются свои, — а Кэтлин сидела прямая от корсета до затылка и понимала, что этот смех не про шутку, что это смех людей, делящих уже согласованный товар, и что слово «дорога» сейчас значит вагон, и паром, и «консерваторию», о которой Киллиан рассказал ей в ту же ночь, спокойно, с цифрами.

— У синдиката три канарейки в Ливерпуле и одна в Глазго, — говорил он, раскуривая сигару у камина. — Все поют. Ты будешь петь в Лондоне — голос у тебя дороже. Счёт тебе открыли не я один: мой кузен Джулиан, лондонские деньги, давно положил глаз на редкости. Твой отец должен был триста восемнадцать фунтов шесть шиллингов, Кэтлин. Я вложил четырёста. За сезон ты вернёшь мне всё — лицом, руками и всем остальным, что покупают мои лучшие клиенты.

— Я не шлюха, — у неё больше не было голоса, остался хрип.

— Шлюха берёт деньгами и уходит, — он произнёс это терпеливо, как учат таблицу умножения. — Тебя возмут статусом. Это дороже. И это навсегда, птичка. Клетка из денег не гнётся.

— Ты же говорил, что любишь меня. — Она произнесла это в огонь, не глядя. — На мысе. Ты сказал — навсегда.

Киллиан помолчал. Потом догорела сигара, он раздавил её в пепельнице двумя пальцами — и сказал без всякой жестокости, буднично, и от этой будничности по позвоночнику пошёл настоящий, могильный холод:

— Я не умею любить, Кэтлин. Я умею владеть. Ты — лучшая сделка моего десятилетия. Будь хоть немного благодарной: таких невест, как ты, я вырастил из мечты и векселей. Смотри и учись. Не каждому везёт увидеть себя со стороны.

А в конце сентября, когда она в истерике ударила его — кулаком, куда пришлось, он перехватил её за горло, поднял

и прижал к стене — легко, одним предплечьем, как прижимают плакат, — и десять бесконечных секунд смотрел ей в глаза, пока перед ней не поплыли круги.

— Никогда больше, — сказал он и опустил её на пол, и улыбнулся, и погладил её горло, как гладят скрипку перед настройкой. — Запомни расценки, Кэтлин, чтобы не торговаться у станка. Побег — безымянный на левой руке. Враньё — мизинец на правой. Сопротивление... — он подумал, — сопротивление я пока прощаю. Я добрый.

Она стояла у стены, дышала и понимала самую страшную вещь: он не блефовал. Он говорил с ней, как портной с тканью — о том, где резать.

Три недели она притворялась.

Гладила его рубашки. Улыбалась миссис Дауэт. Пила чай с молоком, кладя сахар вторым — он любил этот номер и смотрел на него с сытым удовольствием коллекционера. Она лежала с ним по ночам и позволяла рукам дрожать так, как ему нравилось, и в темноте, лежа с открытыми глазами под тёплой тяжестью его руки, считала про себя дни, деньги и шаги до воды.

Из карманов его пиджаков за три недели набралось одиннадцать фунтов. Ключ от кабинета висел у миссис Дауэт на шее, но второй, от нижнего ящика стола, лежал в молитвеннике — Киллиан прятал вещи так же, как воровал их: скучно, по заведённости. В ящике лежали её чердачная тетрадь и конверт с бумагами.

В ночь побега лил дождь, каким льют только над портами: косой, беззвучный, всесрывающий. Киллиан уехал в доки встречать «гостей из Манчестера» — она знала расписание лучше собственной молитвы. Кэтлин вышла из боковой калитки в десять минут одиннадцатого, в чёрном, с тетрадью под плащом и часами с изумрудами на запястье — продать, чтобы хватило на каюту.

До паромного трапа на Норт-Уолл было полтора километра мокрых улиц. Она прошла их, не встретив ни души, — доки не высовываются в дождь, — и трап уже светился в тумане, и на чёрной воде качался паром на Холихед, и у неё впервые за полгода забилось сердце так глупо, по-девичьи, как на чердаке, — тридцать шагов, осталось тридцать шагов...

Двадцать шесть.

Рука вынырнула из-под грузового крана молча и точно — летовшая, тренированная, знакомая по чужим объятьям. Мёрфи. Двое — из-за штабеля. Она кусалась, кричала; доки молчали; в доках не кричат. Мокрый платок во рту пах въевшейся за годы солью и мазутом. Автомобиль ждал в переулке — как ждал всегда, терпеливо, как ждут, когда сомкнётся капкан.

Киллиана в машине не было. Сиденье рядом с шофёром было пусто, и эта пустота была страшнее любой встречи: ему даже не понадобилось приезжать. У него был ужин с людьми из Манчестера.

Пакгауз стоял на Норт-Уолл, в двух кварталах от отцов-

ской мастерской — она поняла это по гудку паромной переправы, глухому и родному. Лестница вниз. Коридор. Дверь без окон, из шпона и железа, холодная, как дно. Её втолкнули внутрь — она успела прижать к груди тетрадь, единственное, что осталось у неё от чердака, от матери, от девчонки с медными волосами, — и дверь захлопнулась с гулким, похоронным ударом.

Щёлкнул массивный засов.

Тьма была абсолютной, густой, съедающей руку перед лицом. Где-то наверху, за тремя потолками, глухо и страшно пели чайки. Внизу капала вода — размеренно, как маятник, как метроном, отмеряющий то, чего она пока не знала. Ржавые цепи на потолочных балках тускло пахли железом, дождём и чужим прошлым несчастьем.

Кэтлин О'Ши сползла спиной по стене на ледяной бетон, прижала к груди тетрадь и стала ждать рассвета — не зная ещё, сколько часов осталось до него.

И сколько из них отпущено ей до того, как в доках Норт-Уолл прозвучит первый, ни на что не похожий звук ломающейся кости.

Где-то высоко над крышей, за туманом, кричали чайки. Крысы бежали по трубам — ведь в доках всегда первыми узнают, кто из людей перестал быть человеком.

Глава 5. Первая проба

Тьма в пакгаузе была не цветом, а веществом. Она имела вес, вкус и температуру: холодной золы и солёного железа. Кэтлин сидела на бетоне, прижав к груди тетрадь, и слушала, как капает вода, — размеренно, неотвратно, как счёт в конторской книге. Кап. Кап. Так капают проценты.

Дверь открылась под утро.

Он пришёл один — с керосиновой лампой и маленькой клетчатой скатертью, которую разложил на перевёрнутом ящике, будто на пикнике. Поставил термос, чашку, нож для хлеба. Всё это он делал неторопливо, с той уютной обстоятельностью, с какой готовятся к семейному завтраку, — и от этой обыденности по спине Кэтлин пополз леденящий холод.

— Спала? — спросил он.

Она не ответила. Он кивнул, будто получил ответ, налил себе кофе и сел на ящик напротив, положив локти на колени.

— Я всю ночь думал о тебе, Кэтлин. Честно. Не спал. — Он отпил. — И понял одну вещь. Я всё время шёл к этой ночи, как к помолвке. Подарки, разговоры, жемчужный шёлк, мыс Хаут, кольцо — всё это была сватовство. Красивое, дорогое. Но помолвка, птичка, — это не брак. Брак — это когда снимают мерки. Настоящие. До последнего дюйма. — Он поставил чашку. — Сегодня я снимаю мерки.

— Не подходи ко мне.

— Встань.

— Не подходи!

Он поднялся без спешки. Лампа качнулась, и его тень легла на неё вся — от стены до стены. Дальше всё происходило быстро и очень тихо, потому что в этом не было ни ярости, ни страсти — была работа. Она вцепилась в ржавую цепь, свисавшую с балки, — он разжал её пальцы одно за другим, как раскрывают кулак ребёнка. Она ударила его ногой, укусила, исцарапала ему щёку — он отмечал каждый её удар коротким «учтено», как бухгалтер отмечает оплату. Когда она вцепилась зубами в его ладонь, он на миг замер — и она увидела его лицо в дрожащем свете лампы и поняла, что смотреть на это лицо больше нельзя никогда. Не потому, что оно было злым. Потому что оно было счастливым.

— Вот, — сказал он тихо, с благоговением, как человек, дождавшийся редкого экспоната. — Вот теперь ты настоящая. А то была — из тетради.

Она билась, пока бились руки, пока стояли ноги, пока во рту был воздух. Она сделала всё, чему её учили доки, — и всё было мало, потому что против неё работали не его руки, а два года её собственной веры: она сама открыла ему все двери, сама сняла со стен все замки, сама выучила наизусть его запах и назвала его свободой. Предательство всегда бьёт через самое дорогое.

А потом случилось то, о чём она не расскажет никому до

самой смерти. Не картиной — списком. Психика спасает человека, разбирая катастрофу на сухие детали, потому что целая картинка убьёт.

Керосинка ржавела в углу. Бетон был холодный, потом горячий от неё самой. Его вес не оставлял воздуха. Дым от лампы шёл вдоль потолка. Внизу капало — кап, кап — и вода оказалась права: всё это кончилось, кончается всегда. Тепло, которого не спрашивали, научилось исчезать. Она легла внутрь себя, как уходят в подвал при сирене, и оттуда, из-под пола собственного сознания, слушала далёкое, как радио за стеной: гудение, скрип, его голос, который то и дело спрашивал её что-то — и не ждал ответа, потому что спрашивал не её, а своё торжество. Он говорил в эти минуты много и сладко — про то, какая она, про то, что теперь он первый и первые не забывают, про то, что «проба удалась». Она не слышала слов. Она держалась за чердак: за журналы, проглаженные утюгом, за мать, кружащуюся босиком под граммофон, за содовый хлеб. Она держалась за доски, как держатся за доску на бурном море, и ждала, пока буря кончится. Бури кончаются всегда. Эта кончилась.

Один раз — один единственный — её вернуло в тело, в самое его дно, короткой, тёплой, непрошеной вспышкой, от которой она издала звук. Он расслышал. Он взвыл от восторга и утвердился в чём-то своём навсегда. А она в ту же секунду возненавидела собственную плоть с такой силой, что почти потеряла сознание, и сказала себе — тогда, и завтра,

и через девять лет, тысячи раз: *тело — это ткань, а ткань отвечает на любое трение. Это не значит ничего. Это никогда, никогда ничего не значит.*

Когда всё кончилось, он поднялся, тяжело дыша, поправил рубашку и посмотрел на неё — распластанную, окровавленную губу о его перстень, с вывернутым запястьем, — с искренним, почти нежным умилением коллекционера, развернувшего лучшую покупку года.

— Смотри-ка, — сказал он. — А глаза-то живые. Я думал, у рыжих они гаснут сразу. — Он присел на корточки и заботливо убрал с её лица мокрую прядь. — Не переживай, птичка. Первая проба всегда грубая. Дальше я умею лучше.

И она узнала о нём самое страшное: он не чудовище. Чудовища бывают интересны. Он был конторщик с ножницами, который работал по прейскуранту.

Он запер дверь снаружи. Засов упал с гулким, похоронным ударом. Кэтлин лежала на бетоне и молчала — не потому, что сдалась, а потому что внутри, там, где час назад рвалось и горело, теперь лежал очень тихий, очень холодный кусочек ясности размером с иглу.

Он искал оружие в карманах. Он не смотрел в швы. Он не умеет шить.

«Проценты за сопротивление» она получила вечером того же дня.

Она почти успела. Час — сорок минут, час — она рабо-

тала здоровой правой рукой над дверным засовом, вставив в механизм иглу из отцовской «ласточки», ту самую, что была зашита у сердца, — она слышала, как щёлкает внутри сталь, ещё чуть-чуть, ещё пол-оборота... Дверь поддалась на вдох. Она выскользнула в коридор — десять шагов до лестницы, девять, восемь — и тогда из темноты вышел Мёрфи. А за Мёрфи, неспешно, застёгивая манжеты, вышел Киллиан.

Его даже не понадобилось бежать следом.

— За побег, — сказал он мирно, — у меня расценки, помнишь? Безымянный на левой.

Били её четверо — недолго, методично, по правилам работы с товаром: в живот, чтобы не осталось лицу следов, рёбра, спина, подошвы. Она сворачивалась, закрывала голову, считала удары — раз, два, семь, двенадцать — и теряла счёт, и вставала снова, потому что он приказал: «Ставь её. Она у меня гордая, пусть смотрит». Когда её поставили на колени на бетон, он присел перед ней на корточки, взял её левую кисть — бережно, как хрусталь, — и нашёл безымянный палец. Тот самый, на который год назад он надел кольцо на мысе Хаут.

— Ты ведь носила моё кольцо именно здесь, — сказал он задумчиво. — Похоже, это место у тебя — для меня.

Он отводил фалангу медленно. Вверх. Ещё. Против любого предела. Она сжала челюсти до скрежета — не кричать, только не дать ему крика, последнее, что оставалось в её собственности, — и хрустнуло: коротко, влажно, ни на что

не похожим звуком, который она будет слышать потом всю жизнь — в тишине ателье, под стрёкот швейных машин, в голосах клиентов. Белая вспышка. Свистящий, захлёбывающийся хрип. Слезы, смывающие кровь из разбитой губы.

— Вот теперь знакомы, — сказал он с удовлетворением знатока, попробовавшего выдержку вина. — Это за побег. Завтра — мизинец, за то, что кусалась. Послезавтра приезжают гости из Манчестера, и ты их встретишь такой, какой я тебя сделаю. Красивой. Тихой. Удобной. — Он выпрямился, глядя на неё сверху, как на раздавленное насекомое, и добавил почти ласково: — Спи, птичка. Тебе нужно набраться сил. Ты теперь капитал.

Дверь захлопнулась. Засов. Тьма.

Кэтлин лежала, прижимая сломанную руку к груди, и дышала через то, что осталось от рёбер. Боль накатывала слоями — обвалом, приливом, звоном, — и где-то под ней, на самом дне, лежала та самая холодная ясность размером с иглу, и голос её был ровен, как отцовский:

Он сказал: завтра. Значит, у тебя есть ночь. Одна. Большие их не будет.

Она поползла. По стене, локтями и коленями, волоча левую руку, — к нарам, к тому месту, где полгода назад, ещё невестой, счастливая, она сама перешивала обивку и, по доковской привычке провожать в плавание, зашила в шов плоский коробок охотничьих спичек и флакончик очищенного бензола — для пятен, думала она тогда, для пятен с

шёлка. Пальцы правой руки нашли подкрашенный шов. Работали на ощупь, в темноте, как работали в тысячи вечеров при керосинке. Распороли. Нашли.

Спички. Бензол. Игла — в засове, обломанная, но её.

Она ползла по подвалу и работала до рассвета. Канистры — скипидар, керосин, растворитель — пошли тёмными лужами по уклону пола, к мешкам, под стеллажи, соединяясь, дыша парами так густо, что стало горько во рту. Шесть тонн чужого контрабандного груза. Мешки с двойным швом — отцовским швом, Шон О'Ши шил их, сам не зная для чего, — она облила все. Остаток вылила себе под ноги. Отползла за жестяную контору, развернула спичечный коробок мокрыми пальцами, высунула одну спичку — единственную, от которой зависело всё.

— Па, — сказала она темноте, впервые за сутки вслух. Голос не дрожал. — Ты говорил: ткань нельзя ломать силой. Её нужно... — она чиркнула. — Её нужно поджигать.

Вспышка была тихая. А потом мир выдохнул.

Огонь пошёл по лужам стремительной жёлто-синей каймой, рванул по мешкам, по стеллажам, и за одну минуту подвал стал адом с оранжевыми небесами — гулким, ревущим, живым. Наверху закричали. Застучали двери. Кто-то сорвал засов — она услышала, как он звонко отлетел, — и в проёме вырос силуэт с ведром, перекошенный от дыма.

Она успела ещё до него. Ползком, вдоль стены, к лазу для угля — узкой щели за штабелем, которую заметила ещё

днём, лёжа на бетоне и считая капли. Догоняющий силуэт занёс ведро — она ткнула ему в колено обломком керосиновой колбы, изо всех оставшихся сил, — и поползла в щель, когда за спиной вздохнуло, зашипело и грохнуло: пары достали до огня, и стеллаж с бидонами подняло, как поднимает крышку кипящий котёл.

Огонь догнал её в лазе — жаром по спине, запахом горящих волос — и вытолкнул наружу, как выталкивает пробку. Она выкатилась в грязный снег, в чёрную ночь, в вой поднимающейся тревоги, встала, пошатываясь, оглянулась: пакгауз пылал весь, целиком, окнами-глазницами, и в этом свете ею же расставленные мешки горели ровно, сытно, как свечи в церкви.

Шесть тонн товара. Клетка. Прейскурант. Прейскурант горел хорошо.

Она побежала.

Доки не высовываются в огонь — вся Норт-Уолл высипала смотреть. Это её и спасло: никто не смотрел на хромую девчонку в обгоревшем бушлате, прижимающую к груди свёрток. Она шла вдоль воды — вразнобой, опираясь на ящики, сжимая сломанную руку, — туда, где за пеленой пара чернели причалы и где качались, скрипя, борта грузовых судов.

У причала номер четыре грузился угольщик — низкий, ржавый, некрасивый, с надписью на корме: «Леди Розалин».

Ливерпуль — Шербур. На трапе, на ящике из-под гвоздей, дремал боцман — старый, прокуренный, с лицом, похожим на его собственный якорь.

Кейт остановилась перед ним — она уже не была Кэтлин, что-то щёлкнуло в ней на бегу, окончательно, как засов, — и положила на ящик всё, что у неё было: часы с изумрудной россыпью, купленные «под цвет глаз».

— Мне нужен корабль, — сказала она. Голос сел, но не дрогнул. — До Франции. За это — часы. А если мало — у меня руки золотые. Я зашью вам всю палубу, все брезенты и все ваши сны за три дня.

Боцман открыл один глаз. Посмотрел на часы. На её руки — тонкие, в ожогах и саже, с мизинцем левой, торчащим под неправильным углом, с левой кистью, подвязанной обрывком чулка.

— Паспорт есть? — спросил он наконец.

— Нет, — сказала она ровно. — Ни паспорта, ни бумаг, ни имени. Возьмёшь безбилетницу — или будешь каждое утро вылавливать из Лиффи утопленницу, потому что обратно мне идти некуда. Мой дом горит. Вон видишь зарево? Это он.

Боцман посмотрел на зарево над пакгаузом — туда, где гудела пожарная дрезина и ругались серые фигуры. Потом на неё. Потом снова на часы, которые он уже сгрёб в кулак.

— В трюм, в уголь, до Шербура, — сказал он. — Оттуда — сама. Без бумаг на берег не поднимаю: в порту теперь строго. В

Париже — как хочешь. И имя своё, дочка, придумай заранее. На корабле все умершие.

Она кивнула, взялась за трап больной рукой — и пошла вверх, не глядя на зарево, не оглядываясь, потому что оглядываться было нельзя: оглядываются те, у кого есть что терять позади. У неё всё нужное было при ней. Тетрадь — под плащом. Игла отца — в обшлаге. Одиннадцать фунтов и спички — в швах.

А имя она нашла на третий день, посреди Ла-Манша, в угольном трюме, где штабелями лежали ящики с клеймами: «Джеймс Кинан и сыновья», «Мёрфи — балласт» и один, старый, с полустёртой синей краской: «О'Коннор и сыновья».

Она сидела на этом ящике, штопая брезент больной рукой, смотрела на синие буквы и вдруг тихо, вслух, сказала им:

— О'Коннор. Ну что ж. Здравствуй, Кейт О'Коннор.

Имя с чужого ящика. Имя, найденное на угольном дне — как всё, что у неё теперь будет. Она повторила его трижды, и на третий раз оно перестало быть чужим.

Так на свет появилась Кейт О'Коннор — без единого документа, с обгоревшими волосами, сломанным пальцем, одиннадцатью фунтами и папкой эскизов, пахнущих гарью. Позади, за серой водой, догорал Дублин — вместе с Киллианом Вэнсом.

Но она знала, что где-то впереди, за штормами Ла-Манша,

лежит город, который она гладила утюгом на страницах, — и что впервые за два года она везёт туда не мечту.

Она везла войну.

Глава 6. Пепел по имени Кэтлин

Есть смерть тихая — и есть смерть рабочая. Кэтлин О'Ши умерла в ночь пожара на Норт-Уолл, но хоронили её пять дней Ла-Манша, в угольном трюме парохода с некрасивым именем «Леди Розалин».

Трюм был чёрным от угольной пыли и гудел на низких оборотах, как большой сонный зверь. Свет туда не добирался — только по звеньям трапа, на три ступени вниз, падал мутный колодец из машинного отделения. Кэтлин устроилась в нише между штабелями: подстилка из мешковины, одежда на себя, тетрадь под щёку вместо подушки. Дышала через мокрую тряпку — угольная взвесь въедалась в горло и к утру отходила мокротой с чёрными прожилками. Странно, но именно эта пыль успокаивала её сильнее всего на свете: она пахла работой, портом, отцом — всем тем, что было до кашемирового пальто.

Тело заживало без её разрешения.

Запястье она перетянула полосой брезентной парусины, натянув на ладонь самодельную лубку из щепки. Безымянный палец левой руки — тот, на котором Киллиан год назад держал кольцо и на этой неделе держал хватку, — срастался, как хотел: криво, горбом, наружу. По всем правилам его нужно было вправить в первые часы. У неё не было ни часов

этих, ни рук. Она перетянула его к соседнему пальцу ниткой от паруса — туго, через верх, — и каждый вечер, стягивая повязку, смотрела, как фаланга, вспухая, застывает под неправильным углом. Она смотрела без слёз и запоминала. Этот угол она собиралась носить всю жизнь — как носят военные ранги.

Днём она отработывала обещанное. Боцман — старый, прокуренный, с лицом, похожим на его же якорь, — поднимал её на палубу, и она шила. Тент у грот-мачты, разошедшийся по швам чехол штурвала, латка на парусиновом мешке с такелажем. Пальцы правой руки работали сами — ровно, до миллиметра, — и это было единственное, что держало её над водой: пока руки шьют, голове можно не жить.

Экипаж звал её «французенкой» — потому что имени она не называла. На судах, ходящих с углём, закон был трижды: не спрашивай, не рассказывай, не смотри в глаза тем, кто не платит. Кэтлин отвечала всем трём как гражданка военного времени.

Старый кочегар Падри, лысоватый, с руками в несмываемой чёрной сетке, дважды в день молча ставил у её ниши кружку с кипятком и горбушку с жиром. Однажды ночью, когда ей приснилось капанье воды — кап, кап, размеренно, как счёт в конторской книге, — и она закричала так, что проснулся весь трюм, Падри спустился, посидел рядом на ящике, покуривая, и ушёл. Утром у её подстилки лежала плоская жестяная грелка. Ни слова за всё. В доках, которые

ходят в море, умеют опекать молча.

А на пятые сутки, на рассвете, боцман пнул её ботинком в подошву — бережно, как пинают спящих родных:

— Шербур. Вставай, дочка. Твоя остановка.

Высадили её по-пиратски — из уважения к закону и презрения к полиции.

Ночью, во время разгрузки угля, её уложили в пустой мешок, мешок — в клетчатый штабель, и кран перелил её через фальшборт вместе с углём, на берег, за складом портового управления. Боцман спустился следом, огляделся, сунул ей свёрток: хлеб, кусок сала, пятьсот франков мятой бумагой — «скопилось с палубы, ребята скинулись, за швы и за то, что не орёшь по ночам».

— Слушай сюда, потому что второй раз не повторю, — сказал он, не глядя на неё, дымя дешёвой папиросой. — В порту теперь строго: без бумаг тебя на трап не пустили бы, я и не стал. Дальше — сама. Идёшь на товарную станцию, там по ночам гоняют составы на Париж. Влезешь в угольный или в вагон с мукой — как повезёт. Жандармов бояться не надо: их бояться надо тому, у кого бумаги есть. У тебя ничего нет — значит, у тебя нечего отнимать. Это, дочка, единственное твоё богатство, и береги его. — Он затянулся, стряхнул пепел. — Париж большой. Работу ищи там, где не смотрят документы: прачечные, швейные подвалы, мойки. Руки у тебя, я видел, — руки от Бога, а Бог, если ты не заметила, документов не спрашивает. — Он помолчал и добавил,

уже совсем другим, почти отеческим тоном: — И вот ещё. Имя своё не забывай и не роняй. Ты теперь Кейт О'Коннор. Носи его ровно, как лекало. Криво сшитое имя — первая дырка, через которую наружу вылезает всё старое.

Он не попрощался. Просто развернулся и пошёл к трапу, волоча якорную походку, и на середине сходни бросил через плечо:

— Зашила ты мне тент лучше, чем кайол делает в Сен-Мало. Не пропадай, рыжая.

Кейт стояла на французском берегу, прижимая к груди свёрток с тетрадью, и слушала, как за спиной, в темноте, «Леди Розалин» грузится углём дальше, на юг. Ей двадцать один. У неё — пятьсот франков, хлеб, сало, сломанный палец, обгоревшие волосы и папка эскизов, пропахших гарью. Позади, за серой водой, лежала страна, где её разыскивали бы, если бы кто-нибудь удосужился её искать.

Никто не удосужился. И это было лучшее, что с ней случилось за два года.

Париж она увидела на рассвете, из кузова угольного грузовика, прислонившись лбом к драному брезенту.

Сначала была Сена — стальная, в тумане, с баржами, спящими бок о бок, как тюлени. Потом — цинковые крыши, волной уходящие за горизонт, десятки тысяч тёмных скатов, покрытых инеем. Потом — изморозная готика Собора богородицы, выросшая из тумана, как остов затонувшего корабля.

ля.

Девчонка с чердака в Норт-Уолл, гладившая утюгом стра-
ницы Vogue, верила, что в этот город въезжают на белом эки-
паже, под руку с мужчиной в пальто цвета угля.

Реальный Париж принял её иначе. Она сползла с кузова
на грузовой двор Центрального рынка — пахнувшая углём,
сажей и морской солью, в краденном бушлате поверх отцов-
ского траурного платья, — и город даже не обернулся. Тися-
чи людей текли мимо, толкали тележки, выкрикивали цены
на рыбной бирже, и ни одна пара глаз не задержалась на ней
дольше секунды. Город из глянца оказался равнодушен, как
вода, — и в этом равнодушии, как ни дико, было утешение:
сюда прибывали такие, как она, сотнями. Её некому было
узнать.

Дальше началась арифметика — наука, которую дочь
портного знала лучше всех наук мира.

Ночлежка у Сен-Дени — двенадцать франков за койку
в подвале с тремя десятками выдохов. Хлеб — вчерашний,
у булочника на углу, за полцены после восьми. Каштаны у
араба с жаровней — два франка, и греют, и едят. Одинна-
дцать фунтов, перекочёвавшие в франки ещё в порту, таяли
с математической безжалостностью, и Кейт вела счёт каж-
дый вечер, чертя палочкой по инею на подоконнике: оста-
лось столько-то. Осталось столько-то. Она ходила по городу
и учила его, как учат чужой чертёж: вот здесь рынок — там
в четыре утра дают огрызки; вот эта арка — в ней сухо и не

видно с улицы; вот этот двор — из него два выхода, второй через арку в переулок.

К концу второй недели она уже спала только спиной к стене и лицом к выходу. Не потому, что боялась. Потому что однажды — на товарной станции, в вагоне, набитом мешками, — она проснулась от того, что кто-то стоит рядом и смотрит, и не смогла ничего: ни закричать, ни бежать, руки как чужие. Мужчина — грузчик, запахший от вина, — постоял, постоял и ушёл сам, никуда её не тронув. Но ночью, в темноте, она лежала с открытыми глазами и поняла что-то очень простое и очень важное: тело, которое не готово, отдаётся беде целиком. Тело, которое готово, — торгуется. Она больше не собиралась отдаваться. Ни беде, ни мужчинам, ни обстоятельствам. Она теперь всегда лежала спиной к стене и всегда знала, где дверь.

А через месяц случилась вторая ночь, после которой у неё появились привычки на всю жизнь.

Стояла она на платформе вокзала Сен-Лазар — ждала, пока разойдётся полиция и можно будет пересесть из вагона третьего класса, где контролёры гоняли её дважды, — и мимо прошёл мужчина. Дорогой, холёный, в пальто с меховым воротником, с портфелем из тёмной кожи. И пахнул он — сандалом, сигарным табаком и чем-то холодным, дождевым, — так, что у Кейт подкосились ноги. Мир сузился до размеров подвала на Норт-Уолл: капель, керосинка, вес, не оставляющий воздуха. Она успела выйти из потока, свернуть во

двор, сойти стенкой по пожарной лестнице на уровень земли и стоять там, среди мусорных баков, дыша ртом, пока сердце не перестало колотиться о рёбра, как вор в запертую дверь.

Она стояла долго. А потом очень спокойно, с той холодной ясностью, которая приходила к ней в самые тёмные минуты, сказала себе:

— Значит, так. У запахов теперь будут правила. Всё, чем пахнут они, — мимо. Ирис. Мокрый камень. Чёрная смородина. Я буду пахнуть тем, что выбираю я. — Она подняла голову. — И мужчин с чистыми ногтями буду обходить за версту. Это не суеверие. Это техника безопасности.

Так, гвоздь за гвоздём, собиралась броня, которую потом весь Париж примет за модный каприз.

Деньги кончились к первой неделе декабря.

Одиннадцать фунтов, пятьсот франков боцмана, двенадцать, вырученные за починку чужого пальто на улице, — всё ушло в ночьлежку и хлеб. Осталась гордость, и та потрескалась по швам. Она обошла девятнадцать ателье.

Восемнадцать раз ей отказали. Без бумаг, без рекомендаций, без права на работу. В четырёх конторах она успела показать руки — и один старый мастер, померший её пальцы цепким взглядом, вздохнул: «Золотые. Такие я вижу раз в десять лет. Но без бумаг ты для меня призрак, девочка», — и протянул ей хлеб с сыром. «Ешь. Призракам тоже надо».

Девятнадцатое ателье нашло её само.

Оно не имело ни вывески, ни витрины — только дверь в старом доме на улице Обрио-ле-Буше и медный звонок, о который надо было стучать, а не звонить. Кейт пришла туда из последней надежды, простояв весь день у рынка в надежде на разноску, — и, пока ждала, пока открывали, успела рассмотреть в узком окне цокольного этажа ряды швейных машинок и свет лампочки на проводе.

Лампочка висела на проводе.

Она смотрела на неё через стекло — тонкую, голую, качающуюся от сквозняка лампочку, — и слышала, как за спиной, в чёрном декабрьском воздухе, глухо капает с крыш вода. Кап. Кап.

Дверь открыла женщина.

Маленькая, круглая, гладкая, как буханка, с глазами цвета старой стали и голосом, который стрекотал, как перегруженная машинка. Мадам Рош оглядела гостью с ног до головы — бушлат, пальто, обмотанное запястье, горящие зелёные глаза в чёрном от усталости лице, — и Кейт приготовилась к восемнадцатому отказу.

— Чего надо?

— Работу. Я шью. Очень хорошо шью.

— Бумаги.

— Нет бумаг.

И тут мадам Рош улыбнулась. Медленно, широко, со вкусом, — так улыбается ростовщик, услышав музыку будущего процента.

— Так это же прекрасно, дорогуша, — она отступила, пропуская внутрь. — Заходи. Поговорим.

Разговор состоялся за конторкой, при лампе, под скрипучий счёт. Мадам Рош даже не притворилась, что смотрит бухгалтеру: она обошла Кейт кругом, как обходят лошадь на ярмарке, пощупала пальцы, заглянула в ногти, крикнула и придвинула амбарную книгу.

— Комната — триста в месяц. Еда — двести. Нитки, иглы, свет, отопление, амортизация машинки... — карандаш бежал по столбцу, и цифры росли, как плесень по сырой стене. — Столько-то за простуду в декабре — а простынешь ты, я вижу, непременно, дрожишь вся... — Она подняла глаза, блеснув сталью. — Будем считать, что ты мне уже должна четыреста. За радушие.

И Кейт спустилась в подвал.

Лестница была узкая, крутая, из шести ступеней. Внизу пахло машинным маслом, крошеным мелом и остывшим железом. Вдоль стен — машинки, столы, кипы ткани, чьи-то недошитые жизни. А в центре, на проводе, спущенном прямо с потолочной балки, висела лампочка — голая, качающаяся, без абажура. От неё по бетону расходился круг света, и за пределами круга начиналась тьма — густая, съедающая руку перед лицом.

И где-то внизу, в трубах, размеренно капала вода.

Кэтлин О'Ши стояла в этом круге света и слушала капель, и где-то на самом дне, под обгоревшими нервами, старый,

ржавый механизм шепнул ей: клетка. опять клетка.

А Кейт О'Коннор — новая, с угольного ящика, вдова собственного имени — стояла в том же круге и улыбалась. Тонко, страшно, одними углами губ.

Потому что в этом подвале не было Киллиана.

В этом подвале не было цепей на балках. Не было засова снаружи. Не было мужчины с прејскурантом, который любит объяснять расценки. Был стол, машинка, лампочка — и толстая женщина с глазами гильотины, которая мыслила цифрами, а цифры, как известно всякому, кто их делает, можно перерабатывать. Мадам Рош видела перед собой безбилетную девчонку, которой некуда идти.

Мадам Рош не знала, что видит женщину, которая уже сидела в подвале похуже этого. И сожгла его.

— Ну? — нетерпеливо стрекотала мадам Рош. — Чего стоишь? Машина вон, крайняя. Фартуки там. За работу, за работу, время — деньги, а твои — особенно.

Кейт села за машинку — крайнюю, с тугой педалью и оцарапанной игольной пластиной. Провела пальцем по колёсику. Вдохнула запах масла и мела. Слёзы подступили к горлу — неожиданно, против всякой военной дисциплины, — и она поняла, что плачет не от горя.

От счастья. От того, что игла в иглодержателе, что шов ложится ровно, что руки помнят всё — и значит, не всё отнято. От того, что она, Кейт О'Коннор, без документов, без имени, без единого человека на целом континенте, всё-таки умеет

делать то единственное, что умели оба умерших О'Ши.

Она вдела нитку с первого раза. И прострочила первую строчку — ровную, до миллиметра.

Мадам Рош глянула на пробу, и стальные глазки её на миг расширились — жадно, как расширяются у торговца при виде настоящей вещи.

— Хм, — сказала она. — Ну. Посмотрим, дорогуша. Посмотрим.

А Кейт сидела ровно, спиной к стене, лицом к ступенькам, и считала. Стежки — до миллиметра. Шаги до двери — шесть. Франки долга — четыреста. Дни до того часа, когда она выплатит всё и поднимется по этой лестнице в последний раз, — счёт этому она вела тоже, хотя и не знала пока, что выйдет отсюда не через дверь.

Так она прожила зиму.

От восьми утра до трёх ночи. На самой старой машинке, в самом сыром углу. Со сломанным пальцем, который ныл к непогоде и который она прятала под вязаными перчатками с обрезанными пальцами — пусть люди думают про чудачества, пусть не видят, как криво встала кость: руки, её руки, её золото, должны выглядеть прилично даже в каторге. Это она знала уже. Это она проходила.

Долг рос быстрее швов, и мадам Рош произносила цифры ежедневно, нежно, почти ласково, — и Кейт кивала и считала своё: стежки, шаги, выходы. Никто не стучал в её дверь. Никто не спрашивал о ней. В самом страшном этом подвале

— как и в том, первом, — самой страшной была не хозяйка. Была тишина. Целый город за стеной — и ни одной души, знающей, что она здесь.

Но Кейт О'Коннор уже знала про себя две вещи, которых не знала Кэтлин О'Ши.

Подвалы её больше не пугали — она в них рождалась дважды и один раз уже сожгла.

И война, которую она привезла в Париж в кармане бушлата, вместе с папкой эскизов, пахнущих гарью, не начнётся сама. Война ждёт терпеливых. Нужно лишь считать стежки — и дожидаться противника.

Противник не заставил себя ждать. Он шёл к ней уже три месяца — девочка с платиновыми волосами, с порванным белым лифом в руках и зимой в прозрачных глазах, — и топот её каблуков по подвальной лестнице прозвучал ровно через девяносто один день после того, как Кейт впервые спустилась сюда сама.

Глава 7. Девочка со льдом в крови

Противник, как и обещал Мёрфи-боцман, пришёл не через дверь — через потолок.

Пошёл девяностый день. Кейт жила уже размеренной жизнью фабричной швеи: подъём в семь, машинка в восемь, суп в шесть, машинка до трёх ночи. Долг, перевалив за тысячу франков, замер в своём росте, как зимнее дерево, и Кейт приучилась видеть в нём не каторгу, а расписание: столько-то строчек в день, столько-то дней до свободы. Она шила чужие свадебные корсеты, вечерние ширмы для гарсонов, занавески для красных фонарей на соседней улице — и каждую ночь, отстёгивая последнюю строчку, поднимала глаза на лампочку на проводе и мысленно чертила в воздухе один и тот же счёт: минус день.

Ее отвлёк от мыслей топот каблучков по шести ступеням подвальной лестницы, их было двое: одни звуки лёгкие, резкие, верхние, как стук оледеневшей ветки о стекло, и тяжёлые, командирские, снизу, под них, как гарнизонный барабан.

— Здесь, мама. Мне сказали — здесь.

Голос у неё были — ледяной и желудевый, и Кейт, не поднимая головы от машинки, успела подумать странное: *не нам. В подвале уже давно никого, кроме нас шестерых дев-*

чонок без бумаг. И как раз в эту секунду свет лампочки дрогнул — от нового воздуха, влетевшего с лестницы, — и по цементному полу пробежали две длинные тени.

Первой спустилась женщина. Невысокая, прямая, в строгом пальто с меховым воротником, с лицом, вырезанным из ржавой стали, — из тех лиц, которые не стареют, а шлифуются. Второй шла девочка.

Кейт подняла голову от машинки — и впервые за три месяца забыла, что делает руками.

Девочке было лет двадцать. Волосы — платина, выбившаяся из резинки волнами, лицо без единого мазка косметики, серьёзное, недетски собранное, как у человека, который в детстве разучился быть ребёнком и с тех пор не нашёл, чем заменить. В руках — ком белоснежной танцевальной ткани, из которого торчал порванный, расколовшийся по шву соревновательный лиф. Фигура — не кукольная: спина пловчихи, разворот плеч фехтовальщицы, тело, слепленное болью и муштрой, как слепляют из глины ссадинами.

Но не тело заставило Кейт замереть.

Глаза.

Прозрачные, ледяные, почти белые от света — и в них, в упрямом вывороте подбородка, в сжатых, собранных в кулак пальцах, в этой белой, вечной, невыносимой собранности Кейт вдруг, с обвалом, узнала себя. Не лицо. Самое устройство клетки. Так же ходят по лестнице, когда за спиной стоит командир. Так же сжимают челюсть, когда внутри всё кри-

чит. Так же несут чужую вещь перед собой, как несут портфель с приговором.

О Господи, — с невозможной ясностью подумала Кейт. — Ещё одна.

— Костюм порван, — сказала женщина. Голос был русский, жёсткий, с тем особенным акцентом, который не смягчается от лет, а закаляется. — Через шестьдесят часов прокат. Мне сказали — здесь есть рука.

— Есть рука! — просипела мадам Рош, расплываясь за конторкой, как сдобное тесто. — Мадам, у меня лучшая машинка в квартале, фирменная, швейцарская...

— Мне не машинка нужна, — оборвала женщина, не повернув головы. — Мне нужно, чтобы это сидело, как вторая кожа. И держало удар. Она падает на эту сторону всегда, вы понимаете, что такое «всегда»? Цена.

И тут — Кейт не поняла потом, откуда, из какого отчаянного, последнего остатка той девчонки с чердака, что рылась в чужих мусорных баках, — платиновая девочка перевела глаза поверх конторки, мимо всех, прямо на неё. На Кейт, сгорбленную за старой машинкой, с растрёпанными медными волосами, с иглой в зубах.

И спокойно, в упор, спросила:

— А почему она шьёт в перчатках?

В подвале стало тихо. Даже машинки у соседок, привыкшие работать под любой шум, будто притихли на секунду — три чёлн-стежка в тишине, и умолкли.

Кейт медленно опустила руки под стол. Поздно. Тонкие вязанные перчатки с обрезанными пальцами — её зимняя броня, её оправдание кривого пальца, — были замечены, и оба взгляда, ледяной и жёлудевый, теперь стояли на ней, как на выставочном экспонате.

— Она чудачка, мадам, — быстро и жирно зашебетала мадам Рош, обегая конторку. — Болезненные ручки, аллергия на холод... Но работает — божий одуванчик, месяц без выходных, вот она, вот она, мадам, посмотрите её работу...

— Сними перчатку, — сказала девочка.

Не просьбой. Не вопросом. Тремя словами, положенными на воздух, как на стол скальпель.

И Кейт — Господи, зачем? — послушалась. Не потому, что подчинилась: потому что внутри, под семью слоями брони, поднялось вдруг огромное, голодное, давно не кормленное желание, чтобы хоть один человек на этой земле увидел её настоящую. Она стянула с левой руки вязанный чехол — медленно, подставляя ладонь под лампу, — и положила руку на стол.

Подвал увидел всё. Криво сросшийся безымянный палец, торчащий горбом под неправильным углом. Белые грубые рубцы на сгибе. Игольные проколы — тысячи проколов, воспалённые чёрные точки вокруг ногтей, следы четырнадцатичасовых смен. Синяки на запястье — старые, желтеющие, размытые, в форме чужих пальцев, — синяки, которые носят по три недели и получают новые.

Девочка смотрела на эту руку долго. Долго — по меркам подземелий: секунд десять. А потом подняла глаза, и Кейт увидела, как в ледяных зрачках встаёт вода — та самая, зимняя, которая живёт под любым льдом и ждёт апреля, — и услышала голос, тихий, страшный, адресованный не залу, а ей одной:

— Я знаю этот взгляд. Так смотрят из клетки. Я сама так смотрю в зеркало. — Пауза. — Кто тебя держит?

— Долг, — прошептала Кейт. Голос сорвался на середине слова — первый раз за три месяца. — Восемьсот сорок франков. И... и то, что у меня нет ни одной бумаги. Ни одной, понимаете? Я для этой страны никто. Если эта... — она кивнула на конторку, — если она позвонит куда следует, меня выдворят. А если не позвонит — я здесь и сдохну. Вот и весь расклад.

— Ох, что она выдумывает, мадам! — взвизгнула мадам Рош, багровея. — Дорогуша преувеличивает, мы тут как семья, как семья!..

— Посчитай её долг, — сказала женщина в пальто.

Она сделала шаг вперёд, и от неё — от этой маленькой седеющей женщины с лицом тренера, знающего цену каждому движению, — по подвалу пошёл такой холод, что, кажется, даже лампочка перестала качаться.

— Всю. С твоими процентами, твоими «простудами», твоей «амортизацией». Считай вслух. И когда досчитаешь — молчи. Потому что через двадцать минут сюда приедет ин-

спектор труда, инспектор по делам иностранцев и комиссар с улицы Пигаль, который второй год охотится за подпольными мастерскими. Подробности опушу. Но одно скажу заранее, мадам: из всех, кто здесь сегодня дышит, тюрьму получишь только ты.

Она была тренером. Она умела давить одним голосом — так, что взрослые люди в предпенсионном возрасте начинали считать вслух, торопясь, путаясь в столбцах.

Цифра вышла — девятьсот шестьдесят франков. Женщина повела бровью: дорого. Девочка, не глядя, достала из внутреннего кармана конверт, перевязанный резинкой, — конверт, который бережливые руки матери несла в банк на сбережения, — и, не распечатывая, выложила его на конторку.

Мадам Рош потянулась.

Девочка накрыла её пухлую ладонь своей — маленькой, жёсткой, в мозолях от коньков, — и добавила, не повышая тона:

— И паспорт её, если есть. И всё, что она здесь оставила. Или я поднимаюсь наверх и рассказываю инспектору про дверь в цоколь, которая запирается снаружи. Я слышала её, когда спускалась. Замок новый, маслом не пахнет. У вас не ателье, мадам. У вас склад. Я умею узнавать склады. Я сама в них выросла.

Мадам Рош выдохнула, как спускающийся шар. Открыла ящик. Положила на стол ключ, связку ключей и жестяную

банку из-под кофе, где лежали все документы её подземной империи.

Девочка взяла банку. Кейт смотрела на её руки — как они выбирают, как перебирают чужие бумаги с точностью человека, который с шести лет раскладывает по порядку собственные медали, — и не могла пошевелиться. Так смотрят, наверное, как за стеклом аквариума видят, что воду наконец сливают.

— Возьми свой долг, — сказала девочка ей через стол. Она положила банку и конверт перед Кейт — простую жестянку и будущее, — и добавила уже совсем другим тоном, буднично, почти сердито, как сердятся на близких: — И запомни это число. Девятьсот шестьдесят. Ты мне его вернёшь. Не деньгами. Когда-нибудь ты вытащишь кого-нибудь из чужого подвала — вот и весь расчёт. Так это работает, ясно? У нас в спорте это называется «передать эстафету».

В ту ночь Кейт О'Коннор впервые за четыре месяца спала не в подвале и не считала стежки, засыпая.

Она лежала в маленькой гостиной отеля, где жила сборная, — под одеялом, чистая, отмытая до скрипа, с горячим бульоном внутри, — и слушала, как в кресле напротив, не раздеваясь, сидит платиновая девочка и смотрит на неё в темноту. Не странно. Хорошо. Как будто они знакомы сто лет — или, наоборот, никогда не будут чужими.

— Тебе нельзя здесь жить, — сказала Ника наконец. —

Мама уже всё решила: ты поедешь с нами. Мне нужен свой человек. Личный. Который шьёт так, что судьи плачут, и молчит, когда надо. Комната, еда — за счёт команды, пока я на сборах. Плюс всё, что заработаешь сверх. Идёт?

— Почему ты меня вытащила? — спросила Кейт в темноту. — Ты же меня совсем не знаешь.

Ника помолчала. За окном, в зимнем Париже, глухо прошлое судом ветровое стекло — плохо, к оттепели.

— Потому что я видела, как ты держала иголку, — сказала она ровно. — Пальцы не слушаются, рука болит, человек на последнем издыхании — а шов ровный, до миллиметра. Так шьют только те, кто умер внутри и всё равно продолжает работать. Я таких знаю. Я из таких. — Она помолчала и добавила совсем тихо, в потолок: — И ещё потому, что никто никогда не вытаскивал меня. А я хочу хоть раз в жизни оказаться с той стороны двери. С той, где открываешь.

Кейт не ответила. Она плакала — тихо, впервые за все месяцы, — не от боли, а от какой-то невозможной, непривычной нежности, к которой тело отвыкло, как отвыкают от солнца. Платиновая девочка встала, села рядом на край кровати и положила ей ладонь на плечо — неумело, жёстко, потоварищески, как умеют утешать только те, кого никто никогда не утешал.

— Спи, — сказала Ника. — Утром покажешь, что за эскизы у тебя в папке. Тот, про огонь, дай посмотреть первым.

Утром, за непопитым кофе, Кейт развязала папку — единственное, что она вынесла из двух сгоревших жизней: чердачные силуэты, обёрточную бумагу, пахнущую гарью, и отцовские пометки на полях: «плечо благороднее», «гордышка, тоньше», «для моей Кэтти».

Ника листала молча, долго. На одном листе — силуэт свадебного платья, начатый и брошенный: осиная талия, шлейф, вырез-водопад — остановила палец.

— Это почему не доделано?

— Это, — сказала Кейт ровно, глядя в окно, — платье, которое я шила себе. В прошлой жизни. До того, как узнала, кто такой Киллиан Вэнс.

Ника отложила лист. Посмотрела на неё — в упор, тем самым ледяным взглядом, который Кейт уже успела невзлюбить и от которого не могла отвести глаз:

— Никогда, — сказала она. — Слышишь? Никогда больше ты не скажешь это имя при мне так, будто он имеет к тебе отношение. Он — отработанный материал. Мы его в утиль. А это платье, — она разгладила ладонью угольный силуэт, — ты дошьёшь. Не для него. Для себя. Когда поймёшь, что готова. Я подожду. Я умею ждать дольше всех на свете — меня так учили.

Так родилась Кейт О'Коннор — с имени, найденного на угольном ящике посреди Ла-Манша, с папкой эскизов, вынесенных из огня, и с голоса двадцатилетней фигуристки,

которая однажды посмотрела из своей бархатной клетки в чужую железную и протянула руку.

Ни одна из них ещё не знала, что через девять лет на полу олимпийской деревни в Милане Кейт будет держать за плечи рыдающую Нику и цедить ей в лицо собственное спасение. *«Боль — это просто нервные импульсы, Моро. А трусость — это выбор».*

Они ещё не знали. Они просто спали в одной комнате — беглянка без единого документа и девочка со льдом в крови, — а за окном падал парижский снег на город, который ещё не понимал, каких двух женщин ему принесли эти зимние метели.

Глава 8. Дым, шпильки и охота на призрака

Девять лет спустя. Париж

Утренний Марэ пахнет холодным дождём, сырым песчанником и свежееобжаренными зёрнами арабики из кофейни на углу улицы Тюренн. Но внутри трёхэтажного особняка, где размещается модный дом *O'Connor*, воздух совсем иной: жгучий пар от тяжёлых чугунных утюгов, дорогая кожа, мел, свежесрезанные лилии — и тонкий, ядовитый ментоловый табак, который хозяйка выкуривает пачками прямо у раскройных столов вопреки всем предписаниям пожарной инспекции.

Кейт О'Коннор стоит посреди примерочного зала на четвёртом этаже, опершись бедром о массивный дубовый стол.

Она не просто красива — она опасна той породистой, дикой, хищной красотой, от которой у мужчин в радиусе пяти метров пересыхает в горле, а женщины инстинктивно поджимают губы. Буйная, непокорная копна медно-рыжих волос водопадом падает на плечи крупными небрежными локонами, вспыхивая огненным золотом при каждом повороте головы. Лицо — сплошная геометрия вызова: высокие, точёные скулы, усыпанные россыпью мелких веснушек, каприз-

но очерченный, чувственный рот цвета перспелой вишни и глаза — зелёные, миндалевидные, кошачьи, цвета речного ила и молодого плюща, глядящие на мир с ленивым, плотоядным прицелом снайпера.

Её телосложение не имеет ничего общего с подиумной анорексией: узкая талия, туго затянутая в широкий кожаный ремень с кованой пряжкой, высокая грудь, вздымающаяся под тонкой белой шёлковой рубашкой с тремя расстёгнутыми верхними пуговицами, и бёдра, плавный изгиб которых заставляет портных ронять лекала. На ногах — узкие графитовые брюки со стрелками и двенадцатисантиметровые шпильки от Louboutin с алой подошвой. Кейт носит эту обувь не для красоты — для неё это оружие. Стук её каблучков по полированному венге звучит как щелчки затвора перед расстрелом.

Тому, кто смотрит на неё со стороны — на королеву кутюра Марэ, на женщину, чьи платья носят герцогини и звёзды экрана, — ни за что не придёт в голову простая истина.

Кейт О'Коннор боится.

Боится не темноты, не крыс, не нищеты — всего этого она навидалась в избытке. Она боится запахов. Каждый раз, когда в лифте рядом с ней мужской одеколон на базе сандала, кожи и сигарного табака, у неё внутри, под бронёй из шёлка и сарказма, что-то вжимается в пол, как вжимается тело от ожидаемого удара. Девять лет прошло — а её ноздри по-прежнему помнят этот парфюм точнее, чем сердце помнит

лицо. Поэтому все свои духи она заказывает теперь в маленькой парфюмерной на острове Сен-Луи — ирис, мокрый камень, чёрная смородина. Запахи, которые невозможно ни с чем спутать. Запахи свободы.

Она сидит теперь только спиной к стене — на совещаниях, в ресторанах, в такси. Она всегда знает, где в помещении все выходы, — эта привычка когда-то спасла ей жизнь. Каждое утро, прежде чем поднять жалюзи, она секунду-другую прислушивается к лестнице. Старые привычки — самые живучие. Старые шрамы — самые честные.

Она стряхивает пепел тонкой сигареты в хрустальную пепельницу левой рукой.

На безымянном пальце тускло мерцает массивный перстень из чёрного оникса в оправе из состаренного золота. Он закрывает вторую фалангу целиком — наглухо, бескомпромиссно, пряча под полированным камнем грубую костную мозоль и старый шрам. В Париже не знает о его происхождении ни одна живая душа. Журналисты давно наградили кольцо легендой — «тотемный камень дома *O'Connor*», «часть фирменного образа», «талисман королевы кутюра». Пусть говорят. Пусть строят мифы.

Этот перстень — её замок. Её печать. Её могила, которую она носит на пальце вместо кладбищенского холма. Под ониксом похоронена Кэтлин]— девочка из доков, которую любили только двое на свете и которую предали тоже только двое.

— Если ты сделаешь ещё одну затяжку в сторону образцов лионского шёлка, Кейт, я напишу донос в префектуру полиции и потребую признать это помещение газовой камерой.

Голос от дверей звучит сухо, ровно и академически безупречно.

В зал бесшумно входит Милли. Доктор филологии Сорбонны выглядит так, словно только что сошла с кафедры латинской палеографии: строгие песочные брюки-палаццо, безупречно отглаженный кашемировый блейзер, каштановые волосы, гладко убранные в минималистичный пучок, и очки в тончайшей титановой оправе. В одной руке — два бумажных стакана с двойным эспрессо, во второй — тяжёлая кожаная папка.

Кейт медленно выпускает струю сизого дыма к лепному карнизу, прищулив зелёный кошачий глаз:

— Милли, дорогая, заткнись и дай мне кофе, пока я не заколола портновскими булавками вон того субтильного практиканта за кривую строчку на корсете.

Милли ставит кофе на край стола, брезгливо отодвигая ножницы: — Агрессия натошак — явный признак пониженного уровня серотонина и затянувшейся сексуальной депривации. Ты спала сегодня хотя бы три часа?

— Сон — это изобретение слабаков и бездарностей, — огрызается Кейт, делая жадный глоток обжигающего эспрессо. — У меня показ через месяц, байеры из Нью-Йорка требуют двадцать эксклюзивных луков, а моя швея умудрилась

испортить три метра парчи. Но меня волнует не это.

Она гасит окурок о стекло, и в изумрудных глазах сквозь привычный циничный сарказм пробивается глухая, острая, колющая тревога. Кейт скрещивает руки на груди, впиваясь пальцами в шёлк рубашки:

— Ты звонила Моро?

В мастерской на секунду повисает вязкая, тяжёлая тишина.

Милли медленно снимает очки, достаёт из кармана шёлковый платок и методично протирает линзы: — Звонила. Четыре раза. Автоответчик. Евгения сняла трубку на пятый раз, заявила, что Ника спит после очередного сеанса магнитотерапии, и оборвала связь.

— «Спит», — с ядовитым бешенством выплёвывает Кейт, резко разворачиваясь к панорамному окну. — Она не спит, Милли. Она гниёт заживо в этом чёртовом склепе на Сен-Жермен уже полтора месяца! Сидит в полумраке, пялится на свою ногу и слушает тиканье часов, пока этот испанский глист с покрашенными ресницами раздаёт интервью о своей тонкой душевной организации!

Она с силой ударяет ладонью по дубовой столешнице, отчего тонкие иглы в игольнице жалобно вздрагивают. И только она сама знает, сколько в этом ударе — о Нике. А сколько — о себе.

Кейт слишком хорошо помнит, как это делается: гнить заживо. Она помнит свою собственную зиму — каморку над

мастерской мадам Рош, сырую подушку, потолок в разводах и потолок же вместо горизонта. Она тогда тоже «отдыхала после травмы». Она тоже слушала, как тикают чужие часы. Полтора месяца на машинке — и восемьсот сорок евро долга, повешенного на шею, как мешок с камнями. Людям кажется, что человек в темноте отдыхает. Человек в темноте исчезает. По кусочку, по фаланге, по году — исчезает.

Кейт вытащила себя из той зимы за шкурку — сама, зубами, ногтями, на одних спичках в шве юбки. И она поклялась тогда — над остывающим телом, которое потом снилось ей десять тысяч раз, — что больше ни одна женщина не сгниёт в темноте, пока она, Кейт О'Коннор, дышит. Она поклялась на голоде. На игольных проколах. На всем, что у неё отняли.

— Я видела вчерашний выпуск *L'Équipe*! — продолжает она, и голос её становится опасно ровным. — Они поместили её фотографию с каталкой на обложку с заголовком: «Закат легенды: вернётся ли Франция на лёд?». Эти падальщики уже делят её олимпийскую квоту! А Ника... Она не отвечает на сообщения. Она закрылась, выключила свет и ждёт, когда все сделают вид, что её никогда не существовало.

Милли надевает очки обратно, и её тёмные, умные глаза за стёклами становятся серьёзными и глубокими: — Это классическая стадия депрессивного ступора после травматического крушения идентичности. Ника была божеством с семи лет. Для неё потерять лёд — всё равно что потерять лёгкие. Она не знает, как существовать в теле человека, ко-

торому больно просто встать с кровати.

— Знает. Узнает. Я научу. У меня диплом по этому предмету, профессор, и получен он не в Сорбонне.

Милли бросает на неё быстрый, острый взгляд — из тех, которыми она на семинарах ловит студентов на подмене цитат. Доктор наук прекрасно знает, что рыжая бестия сейчас сказала чистую правду. Из всех её тайн — а Милли подозревает о существовании тайн давно и методично собирает косвенные данные — эта лежит на поверхности: Кейт О'Коннор знает цену лежачей зимы не по учебникам.

— Вот именно поэтому мы едем вытаскивать её за шкуру, — отрезает Кейт, и на её породистом лице появляется та самая хищная, упрямая, дьявольская улыбка, перед которой пасовали самые несговорчивые кредиторы Парижа.

Милли приподнимает бровь: — Каков оперативный план?

— Сегодня день рождения Ноа. — Кейт подходит к металлическому рейлу и сдёргивает чехол с роскошного платья из тяжёлого изумрудно-хвойного шёлка с открытой спиной и разрезом, рассекающим ткань от самого бедра. — Вся спортивная и балетная тусовка будет в закрытом клубе на крыше отеля на Вандомской площади. Ноа обожает Нику, она лично умоляла меня притащить её хотя бы на полчаса.

— Кейт, она на костылях, — сухо напоминает Милли. — Её нога закована в жёсткий ортез до середины икры. Она физически не сможет стоять у бара.

— Ей не нужно стоять у бара! Ей нужно увидеть людей!

— рывкает Кейт, швыряя платье на стол. — Ей нужно вдохнуть воздух, в котором нет больничного спирта и слёз! Я подобрала для неё образ: она будет выглядеть как императрица, сошедшая с трона отдохнуть, а не как жертва автокатастрофы!

Кейт хватается со спинки стула графитовое кашемировое пальто, решительным жестом сгребает ключи от спортивного купе — и вдруг замирает.

На стекле панорамного окна, за пеленой дождя, внизу, у тротуара, стоит чёрная машина. Длинная, английская, с лондонскими номерами — из тех, что в Марэ смотрятся как лебедь в рыбном ряду. Шофёр в фуражке. Двигатель работает.

У Кейт холодеет затылок. Старый, собачий, доковский инстинкт — тот самый, что девять лет назад вёл её считать выходы из горящего склада, — поднимает шерсть на загривке. Лондонские номера. В её квартале.

Она смотрит три секунды. Четыре.

Машина плавно, без единого скрипа, уезжает за угол и исчезает в серой пелене дождя.

— Что там? — Милли подходит ближе.

— Ничего, — Кейт моргает, и плечи её снова становятся ленивыми, царственными, неуязвимыми. Она натягивает пальто небрежным, отточенным движением — но кольцо на левой руке она перед этим, машинально, поворачивает ониксом наружу. Старый жест. Замок на дверь, которой больше нет. — Показалось. Поехали.

Но уже в лифте, глядя на своё отражение в витой бронзовой решётке, она думает о странном: позавчера администратор сказала, что в буфет ателье приходил «джентльмен с ирландским акцентом», спрашивал, во сколько открывается дом, и ушёл, не оставив визитки. Она тогда не придавала этому значения — в Марэ каждый день ходят люди с акцентами.

Теперь придала.

Не ходи за мной по пятам, призрак, — думает Кейт, глядя на съезжающиеся цифры этажей. — Я тебя кремировала девять лет назад. Я построила из твоего пепла империю. Если ты существуешь — я узнаю первой.

— Двигай задницей, профессор, — бросает она, распахивая тяжёлую стеклянную дверь мастерской и шагая в сырое утро на своих смертоносных шпильках. — Нас ждёт спасательная операция.

Глава 9. Национальное достояние

День, перевернувший всё, начался со штурма.

Кейт помнила каждую секунду: тройной удар кулаком в дубовую дверь — такой, что петли звенели, как трубы судного дня; яростный скрежет запасного ключа, который она разыскала с Ники еще в Мадриде («Если я забуду ключи на катке — ты единственная, кому я доверю взломать мой дом»); платиновая упрямица, вжавшаяся в угол дивана в отцовской байковой рубашке; корсет, который Кейт шила трое суток не спала — вручную, кость к кости, чтобы спина чемпионки держала осанку без единой таблетки.

— Вставай, Моро, — сказала она тогда. — Время прятаться вышло.

И через два часа из могилы восстала не пациентка. Восстала императрица в тяжелом шелке жидкого лунного золота, с декольте из каррарского мрамора и глазами, в которых под ослепительной улыбкой Кейт своими глазами видела выжженную пустоту.

Кейт тогда застегнула на ее щиколотке туфельку от Saint Laurent и шепнула:

— Если кто-то сегодня посмеет посмотреть на тебя с жалостью — этот человек ослепнет от собственной неполноценности.

Сейчас особняк Ноа в Нёйи-сюр-Сен сиял, как сокровищница, забывшая закрыть дверь.

Черный бархат дорожек. Зеркальная гладь бассейна, в которой тонули огни и лица. Струнный квартет где-то в жасмине. Ароматы шампанского, селектива и денег — этого густого, лоснящегося, самоуверенного запаха, который Кейт узнала бы с закрытыми глазами. Так пахли ужины синдиката в Дублине. Тот же парфюм: благополучие сверху, гниль снизу.

Кейт вошла следом за Никой — на шаг позади, как тень, как телохранитель, как ангел-хранитель с револьвером под шелком. Милли замыкала тройку с длинным чехлом и лицом профессора на защите диссертации.

Пространство потеряло гравитацию по классическому сценарию. Шепот замер на полуслове. Сливки Парижа, месяц назад жравшие Нику с таблоидов, ринулись демонстрировать преданность — целовать щеки, трясти пальцы, повторять дежурные мантры:

— Ника, ты невероятная!

— Боец! Мы знали, что ты вернешься!

— Богиня, просто богиня!

Ника принимала это с сияющей, безупречной улыбкой. Голос — гладкий, как дорогой ликер. Осанка — струна.

И только Кейт видела то, что было за этой фарфоровой маской: мертвую, ледяную темноту на дне голубых глаз. Ее девочка умирала под этими аплодисментами — мило, веж-

ливо, с идеальной осанкой.

Сволочи, — думала Кейт, обволакивая бокал взглядом, не пригубив его. — Смеются, кланяются. А месяц назад эта же стоя обсуждала, закроют ли ее квоту. Я знаю вас, красавчики. Я выросла на вас. Вы те же доки, только духи дороже.

Ноа — именинница в алом кутюре — врезалась в Ника с разбегу, расцеловала в обе щеки и зашептала что-то, от чего Ника впервые за вечер улыбнулась по-настоящему. На секунду. На одну драгоценную секунду живое пробилось сквозь мрамор.

Кейт выдохнула и повернулась к Милли:

— Начинаем. Бухгалтеров и маркетологов — тебе. Мне оставь глупых и красивых. С глупыми я работаю быстрее.

Операция по зачистке кошельков вечера началась безупречно.

Милли работала как лазер. Она подловила директора по маркетингу клуба у устричного стола и за шесть минут не дала ему вставить ни слова: пятнадцать слайдов благотворительного фонда Ники Моро — катки для детей из пригородов, экипировка, тренеры, — выкладки по налоговым вычетам, слово «имидж», слово «институциональная социальная ответственность», слово «пресс-релиз с вашим лицом».

— Это не благотворительность, мсье, это инвестиция с нулевым риском, — прожекторным тоном вещала Милли, держа распечатку в девятнадцать страниц. — Вы жертвуете две-сти тысяч, возвращаете триста на пиаре и сорок в виде на-

логовой льготы. По сути, вы зарабатываете на детях из Сен-Дени. Не благодарите.

Директор подписал раньше, чем доехал до пятого слайда.

Кейт же работала по своей линии — хищной, прямой, пошлой.

Она настигла у бассейна молодых нападающих — тех, что помоложе и поглупее, — и в течении десяти минут вынула из них обещания, как вынимают зубы: быстро и без наркоза.

— Малыш, твой трансфер стоил девяносто миллионов? — она щелкала ногтем по хронометру юного форварда. — А каток для тридцати детей в Сен-Дени стоит дешевле твоих часов. Не позорь трибуну, купи детям коньки. Будешь фигурировать в отчете — а это почти как забить в дерби, только никто не отнимет за офсайд.

— А... а это дает бонус к скорости? — честно спросил форвард.

— Дает бонус к бессмертию, — отрезала Кейт. — Записывайся, пока я не передумала быть доброй.

Форвард записался. И подписал. И попросил селфи с ее сиськами.

Милли, поймав ее взгляд через зал, подняла большой палец. На планшете у нее уже висело триста двадцать тысяч обещаний.

А потом Кейт увидела то, от чего у нее свело пальцы.

У лаунж-зоны, в тени пальм, стоял он. Лео Васкес — капитан, трехкратный обладатель «Золотого мяча», мужчина-заголовок. Угольный Tom Ford, расстегнутый ворот, обсидиановые глаза, вокруг которых вились модели, как осы вокруг банки меда. Он был красиво-мертв: хищная статуя, поливающая себя минералкой.

Кейт невзлюбила его мгновенно. Врожденно. На клеточном уровне. Красивые, спокойные мужчины с глазами хищника шли в ее личном рейтинге опасности сразу после виски, долговых расписок и голосов из ирландских подвалов. Держись от него подальше, Моро, — подумала она, глядя, как Ника проходит рядом. — Такие не любят. Такие присваивают.

А потом бриз качнул золотое платье Ники, донес до капитана ее запах — и статуя треснула.

Кейт видела, как пальцы Васкеса сжались на бокале — граненое стекло хрустнуло, как лед на морозе. Видела, как его зрачки разбухли от черноты. Видела, как они встретились глазами с Никой — на долю секунды — и как между ними ударило той самой тысячевольтовой молнией, о которой потом всю жизнь будут врать в интервью.

— Профессор, — тихо позвала Кейт, не отводя глаз. — Засеки время. За нашими столиками сейчас сидят два термитника. Ставлю месячную выручку, что когда они рванут — мало не покажется никому.

— Двести на то, что рванет в течение года, — откликну-

лась Милли. — Но я ставлю на взрыв при строительстве. Так интереснее.

А в это время в пятнадцати метрах от них Кейт заметила спину.

Спину, перед которой меркли достопримечательности.

Она стояла с подписанным форвардом, и взгляд ее случайно зацепился за эту спину: огромную, в идеальном черном костюме, с плечами такой ширины, что их надо было вносить в градостроительный план. Мужчина стоял к ней вполоборота, отвечая на что-то смеющемуся охраннику, и от этой позы — тяжелой, ленивой, самодостаточной — у Кейт профессионально, автоматически, по-портновски зачесались руки.

Внизу, под пиджаком, угадывалась ягодичная архитектура национального масштаба.

Кейт О'Коннор была женщиной прямых действий. Она подошла, остановилась на дистанции вербального поражения и сказала в эту спину — громко, отчетливо, тоном ревизора, обнаружившего недостачу:

— Ну наконец-то. Я весь вечер искала главную задницу этого города. Знаешь, что мне нравится в тебе больше всего, красавчик? То, что ты стоишь спиной. Это единственная твоя поза, в которой ты еще не проиграл.

Тишина вокруг них легла мгновенно и плотно, как снеж-

ный покров. Форвард издал звук умирающего чайника.

Мужчина обернулся.

И мир Кейт накренился.

Медленно, как в кино, когда режиссер знает, что делает. Сначала — поворот массивных плеч. Потом — линия подбородка с ямочкой, которую можно было бы поставить в витрину ювелирного магазина эталоном. Потом — лицо, от которого челюсти у половины модных домов Марэ сводило судорогой зависти: красивый не как модель — красивый, как плакат, с которого мальчишки в пригородах качают пресс. Короткая черная стрижка, многодневная щетина, аккуратная, ленивая.

Но убило ее другое.

Глаза. Карие, огромные, теплые, дерзко-смешливые глаза человека, который никогда в жизни ничего не боялся и никого не предавал. С половинкой невинного хулиганства на дне.

Кейт с детства не верила таким глазам. Таким глазам она верила меньше всего на свете — и именно поэтому они пробивали ее броню, как кувалдой пробивают вешалку.

Он смотрел на нее — и молчал.

Рот приоткрылся. Закрылся. Приоткрылся. Огромный, двухметровый капитан обороны сборной Франции, человек, ломавший на поле чужие ключицы, стоял с открытым ртом, как семиклассник у доски, у которого спросили про интегралы.

Потому что перед ним стояло невозможное.

Высокая, в черном атласном смокинг-платье своего же дизайна, без единой лишней детали, с декольте, спроектированным с точностью моста, с медно-рыжей гривой, вспыхнувшей под люстрами расплавленной медью. Лицо ангела, сошедшего с потолка Сикстинской капеллы, — и глаза демона, который этот потолок поджег. Алые подошвы. Оникс на пальце. И насмешливая, хищная, отточенная улыбка существа, которое могло с наслаждением раздеть его взглядом и подписать ему приговор.

— Так, — наконец выдавил Марко сипло. Сглотнул. Попробовал снова: — Так. Повторите. Пожалуйста. Я не слышал, у меня кровь отлила... вообще ото всего.

Кейт моргнула. Раз. Два.

Ее организм предал ее раньше, чем разум: где-то под черным атласом сладко, зудяще, предательски дрогнул низ живота. Кейт ощутила это с ужасом профессионала, ощутившего брак в собственном шве.

— О, — она восстановила самообладание за полсекунды, задрав подбородок. — Он еще и разговаривает. Я думала, у тебя внутри свисток, газон и банковская ячейка.

— Я Марко, — он протянул руку. Рука была размером с ее голову. — Капитан обороны. И я, кажется, только что влюбился в женщину, которая оскорбила мою задницу. Это вообще нормально?

— Для твоего уровня интеллекта — да, — Кейт не дала

себе права замедлиться. Ни на секунду. — Кстати о заднице: такие активы приличные люди не выпускают на вечеринки без охраны и таблички «не трогать руками». Хорошая новость: я коллекционирую таблички.

Вокруг них начал собираться круг зрителей. Парни из команды уже подвинулись, предвкушая шоу: капитан — против рыжей королевы кутюра.

Марко расхохотался — громко, грудно, запрокинув голову, — и этот смех был такой наглый, солнечный, живой, что Кейт захотелось либо вlepить ему пощечину, либо забраться на него, как на стенд для стрельбы.

— Ну вы даете, мадам дизайнер, — он вытер глаз. — Ладно, я проиграл первое тайм. Кто вы вообще такая?

— Кейт О'Коннор, — она произнесла это так, как произносят приговор. — Модный дом. Вероятно, единственный человек на этом приеме, у которого между ушей есть не гуталин, а извилины. Но тебе простительно — у тебя голова занята другим: думать, куда поставить ногу.

— У меня был тест на IQ, — гордо сообщил Марко. — Семьдесят девять. Тренер сказал — для центра обороны это даже много.

— Сенсация века: капитан сборной честен. Запишу в отчете: перевыполнен план по честности на семьдесят девять пунктов.

Форвард за спиной капитана уже хрюкал в кулак.

Кейт сделала шаг — каблук щелкнул о мрамор, как за-

твор, — и протянула ему планшет с распечаткой:

— Раз уж ты капитан обороны — защищай. Фонд Ники Моро. Катки для детей из трущоб. Твои деньги превращаются в детей на коньках. Красивый обмен. Подпись.

Марко посмотрел на планшет. Потом на нее. Потом опять на планшет:

— А что я получу?

— Мою благодарность. Это дороже.

— А если я подпишу прямо сейчас, не глядя?

— Тогда моя благодарность будет сопровождаться оскорблением. Так привычнее.

Он подписал. Не читая. Она смотрела, как его огромные пальцы выводят каракули, и заметила — слишком поздно, — что их руки над планшетом почти соприкасаются. От него пахло свежестью, травой после дождя и наглым мальчишеским здоровьем. Она отдернула руку на долю секунды раньше, чем пальцы встретились, — и Марко заметил. Она видела, как он заметил, и как его карие глаза потемнели на четверть тона.

Воздух между ними стал плотным, как перед грозой. Круг зрителей затих.

— Пригласи на показ, — сказал он тихо. Не командным, не развязным тоном. Очень тихо. — Я буду ходить по твоему подиуму. В чем скажешь. Хоть голым.

— Заявка принята, — Кейт отступила на полшага, и голос ее снова стал шелково-убийственным. — Но предупреждаю,

защитник: я измеряю мужчин сантиметровой лентой, а потом шью их под себя. Тебя я шить не возьмусь. Ты не лекало — ты природная катастрофа. Их не шьют. Их переживают.

Она развернулась — медно-рыжий вихрь, алые подошвы, идеальная спина — и ушла в толпу, оставляя за собой запах ириса и мокрого камня.

Марко стоял посреди зала с планшетом в руках и выражением лица человека, которого на скорости двести ударила молния, а он почему-то счастлив.

— Капитан, — форвард тронул его за локоть. — У тебя лицо, будто тебя закрыли на разминку, а ключи сожгли.

— Ло, — Марко медленно, очень медленно повел глазами на свою ладонь, которой держал ручку. — Запомни этот вечер. Я, кажется, понял, зачем люди ходят в церковь.

— Что?

— Благодарить. — Он посмотрел вслед рыжей королеве и добавил, уже совершенно серьезно, от чего Ло стало не по себе: — Я женюсь.

В машине, уже на выезде из Нёйи, Милли сверилась с планшетом:

— Итог вечера: два миллиона четыреста тысяч обещаний, спонсорский контракт клуба на три катка, сорок три подписки на рассылку фонда. Рекомендую фиксировать, пока хмель не выветрился.

— Пиши еще, — Кейт смотрела в окно на мокрый Париж, и пальцы ее машинально поворачивали оникс на пальце. — Добавь пункт: фонд пополнился одной утерянной выдержкой. Инвентарный номер — капитан обороны, примерно сто двадцать кило, опасен.

— Зафиксирую в разделе «форс-мажоры», — Милли надела очки. — Прогноз?

— Никаких прогнозов, — отрезала Кейт и отвернулась к стеклу, где в темноте плыли огни. — Красивые мужчины с большими руками — это стихийное бедствие. А я, профессор, пережила уже одно наводнение. Больше не хочу.

Милли промолчала. И лишь деликатно отметила в блокноте, что ее непотопляемая, ледяная, циничная подруга третьего квартал дороги гладила левое запястье — то самое, где секунду держались чужие пальцы.

А на террасе, под жасмином, Ника в золотом платье не отводила глаз от капитана с разбитым граненым бокалом в руке — и никто из троих женщин еще не знал, что этой ночью Милан, Дублин и Париж уже сцепились в темноте за право решать их судьбу.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.